



Игорь
ШЕСТКОВ

ФАБРИКА УЖАСА

Страшные рассказы

Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы

Игорь Шестков

**Фабрика ужаса.
Страшные рассказы**

«Алетейя»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шестков И. Г.

Фабрика ужаса. Страшные рассказы / И. Г. Шестков —
«Алетейя», — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы)

ISBN 978-5-00165-074-4

Игорь Шестков (Igor Heinrich Schestkow) начал писать прозу по-русски в 2003 году, после того как перестал рисовать и выставяться и переехал из саксонского Кемница в Берлин. Первые годы он, как и многие другие писатели-эмигранты, вспоминал и перерабатывал в прозе жизненный опыт, полученный на родине. Эти рассказы Игоря Шесткова вошли в книгу "Вакханалия" (Алетейя, Санкт-Петербург, 2009). Настоящий сборник "страшных рассказов" также содержит несколько текстов ("Наваждение", "Принцесса", "Карбункул", "Облако Оорта", "На шее у боцмана", "Лаборатория"), действие которых происходит как бы в СССР, но они уже потеряли свою подлинную реалистическую основу, и, маскируясь под воспоминания, — являют собой фантазии, обращенные в прошлое. В остальных рассказах автор перерабатывает "западный" жизненный опыт, последовательно создает свой вариант "магического реализма", не колеблясь, посылает своих героев в постапокалиптические, сюрреалистические, посмертные миры, наблюдает за ними, записывает и превращает эти записи в короткие рассказы. Гротеск и преувеличение тут не уводят читателя в дебри бессмысленных фантазий, а наоборот, позволяют приблизиться к настоящей реальности нового времени и мироощущению нового человека.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-074-4

© Шестков И. Г.

© Алтейя

Содержание

Жасмин	6
Триста тысяч юаней	17
Лепрекон	21
НЛО в Берлине	27
Пантера в кресле	35
Господин Макс	39
Сороконожка (рассказ пенсионера)	44
Абсент	47
Багровая полоса	59
Трещина	63
Черный аспирант	69
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Игорь Шестков

Фабрика ужаса. Страшные рассказы

Жасмин

Аннелизе страстно любит жасмин.

Жаркий июнь – ее любимое время года. Из-за цветущего жасмина. По дороге на работу Аннелизе останавливается у огромного жасминного куста недалеко от ее дома, гладит ветки и белые цветы и, зажмурившись от удовольствия, нюхает сладкий аромат. Ее узкий лисий нос, густо усыпанный то ли веснушками, то ли старческими пятнами, неприятно подергивается.

Аннелизе пахнет жасмином – потому что регулярно принимает жасминные ванны, моется жасминным мылом и растирается жасминным кремом. Душится жасминными духами. И даже зубную пасту покупает всегда с жасминным экстрактом.

Я жасмин терпеть не могу – от него у меня голова болит. И июнь в саксонском Кирлитце не люблю именно из-за жасмина, которого тут до безобразия много посажено. Тяжелое это благовоние может чувствительного человека в гроб загнать. А я – человек чувствительный. Как все эмигранты. И аллергия меня мучает. На все. На самого себя. На Кирлитц. На жасмин.

...

Аннелизе живет в центре Кирлитца в четырехэтажном доме с балконами, эркерами и башенками, построенном еще до Первой мировой войны, в квартире с просторными комнатами, высокими потолками и внушительной угольной печью, топящейся из коридора и выходящей двумя своими могучими зелеными кафельными боками в гостиную и детскую. На кафельных плитках изображен Роланд с высоко поднятым мечом в правой руке и щитом в левой. На щите – трехголовый грифон.

В длинной, узкой как гроб, спальне отопления нет.

Аннелизе работает вместе со мной в городской галерее современного искусства «Синяя лампа».

Дом, где живет Аннелизе, случайно не пострадал при бомбардировке Кирлитца в марте 1945 года. Союзники дружно громили тогда уже беспомощную Германию, чтобы быстро не встала на ноги, и кошмар не начался бы сначала. Английским пилотам перед вылетом, например на уничтожение Дрездена, рассказывали по секрету, что по сведениям разведки в Дрездене находится руководство Германии во главе с Гитлером. Почему надо сжигать жилые кварталы, в которых жили только старики, женщины, инвалиды и дети, пилотам не объяснили. Но они, кажется, и не спрашивали. Военные любых национальностей охотно совершают массовые убийства, если за это их не наказывают...

Почти все соседние дома были разрушены и не восстановлены после войны, а заменены на ужасные, крысиного цвета двухэтажные строения, слепленные из мусора, глины, щебня и плохого цемента, с крохотными квартирками и маленькими окошками. Эти убогие лачуги достояли до объединения Германии. Удивительно то, что многие их жители не хотели покидать свои первобытные жилища, когда городской совет решил наконец их снести, построить на их месте современные светлые коттеджи и расселить там старых жителей. Правда, цена за квадратный метр должна была возрасти в четыре раза.

...

Пожилые немцы не любят рассказывать о своих подвигах на Восточном фронте. Отнекиваются. Говорят, что в боевых действиях не участвовали. Что служили радистами, конюхами, поварами, шоферами. Только один старый актер, бывший директор драмтеатра в Кирлитце, замечательный знаток творчества Булгакова, тяжело посмотрев на меня, признался:

– Я был танкистом. В войсках СС. Я убивал ваших людей каждый день, убивал столько, сколько мог... Участвовал в операции Цитадель под Курском. Ничего страшнее я за свою жизнь не пережил... Мой танк сгорел, но я смог из него выбраться. Остальные погибли. Почти вся наша дивизия была уничтожена. Закончил войну во Франции. Пришел пешком домой, в Кирлитц, а в нем уже была советская комендатура. В вилле Моргенштерн. Меня вызвали к коменданту. Он сидел за старинным столом, а над ним на стене, там где раньше был гравированный портрет Гёте, висел ужасный портрет Сталина, намалеванный масляными красками прямо на гравюре. Комендант был пьян. Спросил меня о том, где я воевал. Я рассказал. Он выслушал и сказал – Фритц, видишь березу во дворе? Вот веревка. Сейчас выведем тебя во двор и повесим! Потому что ничего другого ни ты, ни весь твой народ не заслужили. Я ответил – воля ваша. А он рассмеялся и сказал, что с повешением несколько повременит, если я через две недели, к приезду высокого начальства поставлю Фауста в местном театре и сам сыграю Мефистофеля. Рассказал, что других актеров тоже пугал березой и веревкой, чтобы они не кочевряжились. Через полгода меня арестовали прямо в театре и отправили на Кавказ, строить дорогу на озеро Рица. Там я доходил. Меня спасли местные жители. Приносили фрукты и вино. Через четыре года отпустили. Я русских понимаю и ни за что не виню, но и себя виноватым не считаю. Что я мог сделать? Меня воспитали как нациста.

...

Одной из многочисленных неприятных неожиданностей, поджидавших на территории бывшей ГДР меня, москвича, прожившего всю жизнь в квартире с центральным отоплением, была такая же, как у Аннелизе, колоссальная угольная печь. Само ее наличие. И необходимость ее топить. А также отсутствие в квартире ванной комнаты и туалета. Туалет был на лестничной клетке, между этажами. Поход туда в шлепанцах на босу ногу по ледяным каменным ступенькам (подъезд не топили) был тяжелым испытанием. Особенно, если как раз в это время по лестнице поднимались в свое логово подвыпившие соседи сверху – бывший таксист Хельмут и его визгливая сожительница Бригитта.

Хельмут и Бригитта устраивали по ночам настоящие шабашы с ведьмовскими плясками, зазывали на них всю окрестную пьянь, орали, топали ногами и ревели как медведи. Не боялись даже полицейских, которых вызывали по телефону мрачные супруги Зигле или сенильный дед Зигфрид, бывший секретарь парткома машиностроительного завода.

Теплыми летними деньками Хельмут и Бригитта выносили на балкончик, выходящий на внутренний двор, радио и врубали на полную мощь немецкие шлягеры в ритме марша. Слушать эту удивительно бесталанную музыку, доказывающую самим своим существованием упомянутую классиком еще в девятнадцатом веке пронизывающую все и вся пошлость немецкой культуры было невыносимо. Если бы у меня было ружье, я застрелил бы и Хельмута и Бригитту. Но ружья у меня не было, поэтому приходилось терпеть, скрипя зубами, или уезжать кататься на велосипеде в парк Чижиковый лес, собирать там ежевику. Собирал я ее, впрочем, только до того момента, пока не прочитал надпись на табличке у входа в лес «Просим воздержаться от сбора ягод из-за их заражения яйцами ленточных глистов!».

Хуже популярной немецкой музыки второй половины двадцатого века – только советская популярная музыка того же времени.

...

В моей кухне в стене рядом с небольшим старомодным умывальником с большими фарфоровыми кранами была ниша – душевая. Там можно было помыться, стоя в прямоугольном пластиковом корыте с круглой зарешеченной дыркой, в которую стекала вода. Стены ниши были покрыты зловещей сизой плесенью. Несколько раз я соскребал ее вместе с штукатуркой, обрызгивал стены специальной жидкостью, штукатурил их как мог, и красил заново. Ничего не помогало – через месяц плесень появлялась вновь. Однажды я мылся, думал о чем-то приятном и свистел соловьем. Вдруг корыто подо мной заходило ходуном. Землетрясение, поду-

мал я и выскочил из ниши. Через несколько секунд наполовину полное водой корыто (дырку я затыкал пластиковой крышкой от мармелада) медленно, как в фильме ужасов, провалилось и упало в кухню живущего подо мной машиностроительного деда Зигфрида. Моя прыть спасла мне жизнь. Падать пришлось бы долго – потолки в нашем доме высоченные. Деревянные балки под корытом прогнили от постоянно сочащейся воды. Несколько месяцев ко мне приходили рабочие заделывать дыру. Один раз они украли у меня десять марок из буфета (тогда еще были марки) и свитер. Свитер позже возвратили, а деньги нет.

День приходилось начинать с посещения угольного подвала и растапливания печи. В подвале меня мучила клаустрофобия. Мне казалось, что его низкие арочные перекрытия это небо пасти огромной каменной черепахи.

Тишина грохотала.

Из темных, затянутых грязной паутиной, углов подвала доносились зловещие шорохи, хруст, шуршание. Я подозревал, что это духи живших в моем доме до войны евреев зывают ко мне о помощи. Я ничем помочь им не мог. Только иногда представлял себе, глядя в моей квартире на выцветшие старинные обои с растительными орнаментами, на которых сохранились какие-то подозрительные светлые силуэты, – вот, тут видимо стоял бельевой шкаф, а тут у них располагалось брачное ложе. И тут же, как по волшебству, передо мной проходила танцующей походкой полупрозрачная девушка в длинном старомодном кремовом платье, кокетка и шалунья, за ней шли размеренным шагом ее пожилые родители в черном, отец держал в руках газету, а мать вела за руку толстого карапуза в матросской одежде.

Карапуз застенчиво смотрит в пол...

Ленточки на его бескозырке развиваются на беззвучном ветру. Он поднимает голову и проникновенно смотрит на меня. Затем опять печально опускает голову.

Мертвые...

В общине мне сообщили бесстрастно: «Всех бывших жителей вашего дома убили в Освенциме».

Знай, мол, куда приехал, и что тебя возможно ожидает в будущем. Это были старые, немощные, бедные или хронически больные люди и брошенные дети. Молодые, богатые и энергичные евреи покинули Германию еще до «Хрустальной ночи». Пережили Холокост и вернулись в Кирлитц только несколько полуевреев. Их отправили в образцовый лагерь Терезиенштадт в конце войны, и они чудом уцелели.

...

Приходилось тащить два тяжелых ведра с бурым углем на третий этаж. Несмотря на всевозможные химические средства и достаточное количество сухих чурок для растопки, дешевый польский уголь загораться в печи не хотел, только вонял отчаянно. Возможно, я сам был виноват и делал что-то неправильно. Заслонки что ли не так открывал? В СССР я был относительно благополучным человеком, дворником, истопником или рабочим как некоторые сильные личности не работал, угольные печи в глаза не видел.

Мне казалось, что проклятая печь не топится из-за моего презрения к Кирлитцу и его обитателям. Вроде как мстит.

...

Муж Аннелизе Хайнц – безработный алкоголик. Торчит вечно на вокзале – у тамошней пивнухи. Той, что между магазином комиксов и аптекой для домашних животных. Рядом с которой невоспитанный спаниель, принадлежащий бывшему советскому немцу, в прошлом директору музыкальной школы в Екибастузе, укусил за палец дочь обер-бургомистра.

Хайнц погибает собутыльникам на вокзале, что он во времена ГДР работал инженером на фабрике протезов. На самом деле он был сантехником, мне Аннелизе рассказывала. На заводе по производству мотоциклов в Рудных горах. Чинил сортиры и душевые.

Приходил Хайнц и к нам в галерею, жену проведать. Врал и мне про фабрику протезов. Зачем, один Фрейд знает.

Натолкнулся я недавно в интернете на страницу Секс с женщиной, у которой ампутированы ноги и руки. Не хотел смотреть, жалел несчастную. А потом все-таки посмотрел. Какой-то любопытный дьявол сидит во всех нас. Ампутирована у женщины была только одна нога. Оставшимися конечностями, красивым гибким телом и прекрасной головой она орудовала на удивление шустро. Страстный любовник покрывал жадными поцелуями ее культяпку.

Каждому свое.

...

Бедная Аннелизе от стыда за мужа кашляла.

Сейчас тут многие врут. Стесняются правды. Честному немцу стыдно днем по улице слоняться или на вокзале торчать. Он должен вкалывать на работе. Зарабатывать деньги.

Спросил я однажды знакомого предпринимателя, купившего у меня еще в начале девяностых несколько рисунков, человека уже не молодого, по моим меркам – очень богатого, владеющего и солидным капиталом и дюжиной доходных домов недалеко от Рейна: «Зачем ты работаешь, пашешь как пчелка? Шел бы на покой, ездил бы по свету и наслаждался жизнью!»

Бедный богач ошалело посмотрел на меня, в его усталых глазах на мгновение вспыхнул огонек страха, потом погас. Он выдал из себя какую-то банальность, отошел от меня, а позже... перестал отвечать на мои приветствия.

Человек-робот ничего не может сделать против встроеной в него программы бессмысленного обогащения. Его приоритеты безнадежно деформированы всеобщим радостным безумием общества потребления. Раб собственного социального статуса, конкуренции, комфорта и денег боится свободного времени, ненавидит не асфальтированное, незастроенное под фабрики, конторы или доходные дома пространство, не выносит незасеянное поле, не обкорнанный сенокосилкой садовый участок, он испытывает ужас перед органикой – природой и человеком, всячески стремится надеть на них хомут и запрячь, а если нельзя, то по крайней мере вставить их в рамку и продать. А вечерами он компенсирует свою механистичность платным садомазохистским сексом, любовью к кошке или собиранием фарфора...

...

Клаус, богатый кузен моей бывшей подруги, показывал ей на семейной сходке коллекцию своих часов. Некоторые стоили более миллиона евро.

– Посмотри, на эти камни из Южной Африки! Горят! Тридцать карат! Платиновый корпус, ручная работа, гарантия на тысячу лет...

Коридоры его виллы были завешаны пестрыми картинами, в которые он, по его словам успешно вложил деньги. Его кухня – мать-одиночка с тремя малолетними детьми – в те времена бедствовала, не могла позволить детям на завтрак съесть более одного тоненького лепесточка копченой колбасы с дешевым хлебом. Клаусу и в голову не пришло предложить ей какую-то помощь.

Клаус умер от удара прямо на заседании правления его фирмы. Из-за нерадивости одного из директоров фирма потеряла выгодный контракт за границей. Клаус расстроился и разругался с коллегами. И умер. Клауса похоронили, а его виллу, акции, коллекцию часов и картин выставили на продажу. По завещанию все вырученные деньги должны были пойти на убежище для бездомных собак. Наследники оспорили завещание. Процесс тянется уже больше десяти лет, и конца ему не видно. Вилла все еще не продана, ее уже несколько раз пытались ограбить. Коллекция часов хранится в банке. Полагаю, кроме моей бывшей подруги о Клаусе больше никто не вспоминает. Она одна ухаживает за его могилой. Сажает на ней фиалки и анютины глазки. От спора за наследство она отказалась.

...

Хайнц загибал последовательно. Он де работал инженером, делал протезы для безногих женщин. Изобретатель и механик. Прочитал доклад в Кирлитцском техническом университете, сам профессор Хемпель хвалил его и звал на работу. Без пяти минут доцент. Сделал стальной протез с движущимися резиновыми пальцами для знаменитой фигуристки Габи Эш...

– Что? У нее и руки и ноги целы? Ну тогда, для этой, для другой Габи. Зайферт.

– Ах, Фрау Зайферт до сих пор катается? Недавно посещала галерею? Ну не помню, может это и не фигуристка была, а певица. Ну эта, ваша бывшая жена... Эбштайн...

– Простите, но моя фамилия Эпштайн, и Катя Эбштайн не имеет ко мне никакого отношения, и насколько я знаю, не нуждается ни в каких протезах.

...

Еще одна неожиданность. Чисто мифологического свойства. Не знаю, почему, но почти все мои знакомые в Кирлитце уверены в том, что я – бывший муж известной немецкой певицы Кати Эбштайн. Кроме того, они уверены, что я страшно богат. Только тайно. Что я прячу где-то большой белый мерседес и имею несметное количество денег в швейцарском банке. На номерном счете. А то, что я живу в Кирлитце более чем скромно – это маскировка, маскарад, который я разыгрываю для каких-то одному мне известных зловещих целей. И сколько я не убеждал моих друзей, что не знаком с фрау Эбштайн, что настоящая ее фамилия Виткивич, что я действительно беден и нет у меня ни белого мерседеса, ни даже прав на вождение, ни номерного счета, ни каких-то тайных целей – все было напрасно. Мне вроде верили, а потом, за глаза, рассказывали, что видели меня на Кудаме в белом мерседесе, а рядом со мной сидела Катя Эбштайн в норковом манто.

Из-за этих идиотских сплетен я чувствовал себя в Кирлитце каким-то Чичиковым. Слава богу, за Наполеона меня все-таки не принимали. А вот за русского шпиона, увы, приняли. Эта, третья мифологическая неожиданность настигла меня однажды вечером. Я был дома, сидел в своем любимом красном кресле с ногами и читал какую-то монографию, кажется о Питере Брейгеле. Кресло это кстати мне досталось в подарок от бывшего судьи, высоченного породистого старика, похожего на Бисмарка, решившего провести остаток дней на Северном море и раздававшего мебель нуждающимся. Я тогда поблагодарил его жену и потащил кресло с десятого этажа вниз по лестнице, в лифт оно не входило. Где вы поставили свою машину, спросила меня жена судьи. И очень удивилась, когда я сказал, что потащу кресло домой на руках. Нести было не далеко, с километр. Изнемогая от боли в руках, я упрямо тащил кресло метров сто, затем ставил его на тротуар и садился в него отдыхать. Потом опять нес. Прохожие удивлялись, тарасили на меня глаза. Даже полицейский подошел и осведомился, почему я не везу кресло на грузовой машине. Я сказал, что это мое хобби – таскать мебель по заснеженным улицам. Полицейский недобро осклабился, но оставил меня в покое.

Так вот, сижу я дома в судейском кресле и слышу настойчивый звонок в дверь. Дверь у меня стеклянная – вижу, стоят за дверью двое мужчин казенного вида. Открыл.

– Вы такой-то?

– Да.

– Мы из БНД, хотели бы с вами поговорить.

– БНД? Это что такое?

– Федеральная разведывательная служба Германии.

– Проходите.

В этот момент мне припомнилось, как два господина в черном арестовали несчастного прокуриса Иозефа К. В день его тридцатилетия. Два типа из БНД вполне могли бы сыграть их роль. Но я на бедного Иозефа К., литературного двойника Кафки, вовсе не был похож.

Господа из БНД рассказали историю проведенного ими расследования. Они де меня сфотографировали на улице. А потом показывали мою фотографию различным людям в Кирлитце. Каким – не сказали, но я позже догадался. И спрашивали этих людей – уж не шпион ли я. И

эти люди подтвердили – да, да, конечно он шпион. И не просто шпион, а резидент российской разведки в Саксонии!

Спасибо, что не во всей Германии!

Проговорив все это, типы из БНД уставились на меня своими змеиными глазами. Я твердо заявил, что не шпион и прошу прекратить эту комедию.

– Все шпионы так говорят.

– Но я действительно не шпион...

– Лучше признайтесь.

Разговор наш продолжался примерно час. Потом я догадался, что надо делать.

– Господа, мы все уже оговорили, я должен уходить, прошу вас уйти.

Они неохотно согласились, но пришли еще раз. Месяца через два. После их второго прихода я послал в штаб-квартиру БНД электронное письмо с просьбой больше ко мне никого не присылать, иначе де буду жаловаться канцлеру и напишу во все газеты о том, что меня, политического беженца, еврея, преследует БНД. Больше они не приходили.

На следующий день я пришел сдавать книгу в городскую библиотеку. Ко мне подошла ее директорша, старая знакомая, и шепнула мне на ухо: «Так ты что же, еще и шпион?»

...

Пропавший человек этот Хайнц. Глаза у него мерзкие, воспаленные. Зрачки – как у дохлой рыбы.

У многих немцев такие глаза. Первые годы жизни в Германии мне казалось, что на улице все на меня смотрят. Пристально смотрят на меня своим мертвыми глазами, усмеваются моей неловкости и насылают на меня зло.

Аннелизе рассказала мне позже, что сказал ей муж после первого посещения «Синей лампы» и знакомства со мной.

– Эти проклятые евреи! Паразиты! Не дотравил их Адольф в газовых камерах, а жаль. Понаехали опять. Они хотят только наши деньги. Не верь этому типу! Посмотри на его спесивую рожу! Все он врет, никто их в России не преследует. Им бы только не работать, сосать из других народов кровь и трахать арийских девушек. Блондинок им подавай! Смотри, не спутайся с ним, зарежу!

...

Хайнц не был так уж неправ. Не только я, многие другие «евреи» из СССР – пишу в кавычках, потому что среди этих евреев процентов семьдесят людей других национальностей, купивших в конце восьмидесятых за полсотни долларов фальшивые свидетельства о рождении, да еще процентов двадцать пять половинок с русскими женами, а настоящих религиозных евреев нет вообще – приехали в Германию потому, что тут можно было жить, не напрягаясь. Кому охота ишачить?

Работу в галерее и работой-то трудно было назвать. Одно удовольствие. Художники – милые ребята. Публика вежливая. Денег немецких мне конечно не надо, но... Если дают просто так, ни за что, то почему бы и не взять?

Сосать кровь не гигиенично. Можно что-нибудь подхватить... А вот против блондинок я ничего не имею. У них шейки тоненькие, нежные, как у ощипанных курочек. Я – не какой-нибудь декадентствующий степной волк, перегрызать их мне вовсе не хочется, а вот романец закрутить можно. Поставить им, как говорил мой покойный друг Боб Френкель, большой любитель клубнички, затяжной пистон в растяжку. Немки – бабы ёбкие и не жеманные, не то, что русские интеллигентные женщины, измученные советским бытом. Они, как говорил тот же Боб, сисястые, но с тараканом в голове. Жены рыцарей.

Помню, связался я лет двадцать назад с одной блондиночкой, арийкой. Соблазнила она меня на музыкальном вечере чудесными волосами, которыми встряхивала как молодая лошадка и короткой замшевой юбочкой, чуть прикрывающей длиннющие ее бедра, похожие

на гидравлические приводы. Пела какая-то старая негритянка блюзы до того хорошо, что хотелось тут же взять билет и в Америку улететь, поселиться там где-нибудь в Алабаме рядом с Глазастиком и Боо Рэдди, пить Кока-Колу и весь день блюзы слушать.

Звали красавицу несколько на славянский лад – Влада. Странная была девица. Трахалась днем и ночью как бешеная лисица, но безумно боялась, что я как-то попорчу ее золотые волосы. Страшно переживала. Три часа их расчесывала, каждый день мыла и холила. Заставляла меня специальную повязку на лоб надевать, чтобы во время любви и капля пота на ее волосы – не дай бог – не упала.

А мне, когда сзади, черт шептал в уши – намотай ее льняное золото на руку и дерни как следует за волосы эту кобылу, когда будет кончать. Месяцев шесть я черта не слушал. А потом дернул. Не сильно, так, для страсти. Красавица моя заржала и как-то быстро – выном – из-под меня выскочила. Встала и окаменела лицом. Оделась, сказала, что пойдет на заправку сигареты купить. И свалила. А я мирно заснул. Вернулась часа через полтора с двумя полицейскими. Оказывается, она для начала сбегала к своему знакомому домашнему врачу, который уж не знаю как и зачем, освидетельствовал несуществующую гематому на ее затылке. С этой справкой Влада направилась в полицию, где заявила, что я ее изнасиловал и избил. Волосы ей драл. Полицейские увезли меня с собой. Допрашивали. Но как-то вяло, без огонька. Я рассказал про наши отношения. Про волосы сказал, что да, дернул, в пароксизме страсти. Полицейские выслушали мой рассказ равнодушно, посмотрели на меня своими глазами цвета болотной трясины и пошли советоваться к шефу. Пришли от шефа скучные. И отпустили меня с миром. Я был на седьмом небе. Помчался как поручик Пирогов в кондитерскую, заказал там горячий шоколад и пирожное «Дунайские волны». В четыре слоя пирожное. Шоколадная глазурь. Сливочный пудинг. Вишенки. Легкий бисквит. С ума сойти как вкусно.

Скоро я узнал, почему меня тогда отпустили. Рассказал один знакомый городской чиновник. Оказывается, на мое счастье, Влада не была в полиции белым листом. Помимо трех-четырех краж косметики в супермаркетах, за ней числились несколько случаев рукоприкладства по отношению к коллегам по работе (Влада работала синхронной переводчицей с чешского, словацкого и украинского, непонятно, кого она избивала?) и шесть ложных обвинений мужчин различных возрастов и национальностей в изнасиловании и побоях. Вот уж действительно – каждому своё!

Свой рассказ о Владе мой знакомый закончил так: «Ты не переживай, она просто психованная. Понимаешь, у нее мать, бухгалтерша, с собой покончила. Владе было четырнадцать или пятнадцать. Приходит домой из школы, а посиневшая мертвая мать у газовой плиты лежит. Тут каждый сбрендит».

...

Дочка Аннелизе, Моника, живет с Лукасом, служащим страховой компании и двумя детьми в старинном городе Ротенбурге. Это там, где все как в средневековье. Музей пыток даже есть. Кресло для допросов с короткими шипами для рук, ног, спины и задницы. Железная дева с шипами подлиннее, металлическая клетка для утопления ведьм, виселицы, специальные маски для срама и поношения преступников. Все как полагается.

Моника – продавщица в магазине сувениров, ей уже сильно за тридцать. Лукасу под пятьдесят. Лукас третий муж Моника. После тяжелого развода с первым мужем, другом детства, оказавшимся домашним садистом и бездельником, Моника полгода лечилась в психбольнице. Вторым мужем Моника был добрый вьетнамец, из тех двух или трех миллионов вьетнамцев, которые работали как рабы на гэдээровских заводах. Они были платой натурой за оружие, экспортируемое из Восточной Германии во Вьетнам.

Вьетнамец был маленьким, честным и работающим муравьем. С ним дородная Моника развелась еще до объединения Германий и вьетнамца позже безжалостно выслали назад во Вьетнам, который хоть вроде и получил слегка, но остался, как и его гигантский северный

сосед, тоталитарным коммунистическим государством. Вьетнамец открыл на родине обувную мастерскую и до сих пор присылает Монике по почте или передает с оказией ее любимые сладости – арахисовые плитки на меду. А Моника посылает ему консервированные баварские сосиски.

...

Лукас был женат четыре раза. С первой женой, Сабиной, у него все было хорошо, пока ребенок не родился. Слепоглухонемой мальчик. Родители возились с ним четыре года. Потом сдали-таки в специальную лечебницу. И развелись. Но не из-за сына, а из-за того, что Сабина, художница и писательница, как она сама себя называла, нашла себе более выгодную партию чем Лукас – врача интерниста. Интернист купил специально для свиданий с ней виллу в стиле ар нуво недалеко от Мюнхена, полную дорогого антиквариата. Даже письменный стол знаменитого Ван де Велде там был. Овальный, с выдвигающимися частями. Купил-то купил, но с собственной женой, Гудрун, гордой дочкой немецкого посла в Венесуэле, подрабатывающей кстати у него в клинике медсестрой, не развелся и виллу для верности записал на жену, а не на Сабину. Сабина так из-за этого переживала, что тоже четыре месяца отлежала в психушке. Затем прижилась в гудруновой антикварной вилле. Рисует там свои портретики и пишет любовные романы купленной в Париже ручкой Ватерман на овальном ван-де-велдевском столе.

Второй женой Лукаса была мексиканка Розита с ревнивым характером. Из Гвадалахары. Она познакомилась с Лукасом в интернете на сайте любителей кактусов. Когда он приехал к ней в Гвадалахару, показала ему плантацию редких кактусов во дворе ее дома и так накормила перченой мексиканской едой, что Лукас чуть не умер от заворота кишок. Розита переехала к Лукасу в Штутгарт. Ревновала его ко всем женщинам. И не напрасно – Лукас изменял ей с собственной шефиной во время частых совместных командировок на различные острова в океане (оба любили тропические фрукты, галечные пляжи и вареных омаров с чесночным соусом). Шефиня говорила, что они тяжело работают в страховой компании не для того, чтобы вести скучную жизнь домоседов, и ездила с любовником за счет фирмы то на Гавайи, то на Мальдивы, то в прекрасную Тасманию. Во время развода, в суде, мексиканка вынула вдруг из пышного платья мачете и недвусмысленно пригрозила им Лукасу. После этого он согласился вернуть ей все совместно нажитое имущество. Отдал ей даже подарки шефины, на что та смертельно обиделась и продолжила свои вояжи уже с новым сотрудником, представительным и динамичным шотландцем Патриком, предпочитавшим фруктам, пляжам и омарам – ядовитое блюдо фугу, приготовляемое из скалозубов. Шефиня и Патрик зачастили на Японские острова. Однажды или повар перестарался или Патрик переел своего любимого деликатеса и скончался на руках у безутешной шефины в страшных муках. Перед смертью он прошептал: «Лучше бы мы ограничились нарэдзуси...»

Третья жена Лукаса привела в его новый, только что купленный в кредит дом двух дочерей от предыдущих браков. Отец первой дочери, мулатки, уехал в Конго, помогать президенту Сассу-Нгессо где, по слухам, был взят в плен повстанцами и после неудачной попытки получить за него выкуп, обезглавлен. Отец второй дочери, тайландец, не собирался никуда уезжать, работал себе в китайском ресторане и наслаждался жизнью; жена бросила его ради Лукаса. После чего тайландец уехал в Таиланд. От обиды. Работает в Бангкоке поваром. Две эти шальные дочки – от негра и от азиата – после нового брака их матери вдруг бешено полюбили своих за тридцать земель от Германии живущих отцов и начали им звонить по мобильному телефону. Хотя отец-конголезец был кажется уже мертв, а у тайландца не было телефона. После получения трех месячных счетов за телефон – каждый был больше двух тысяч евро – Лукас подумал о разводе. Через восемь месяцев он уже был снова женат на бездетной и надежной в финансовом смысле восточногерманской женщине Монике, дочери Аннелизе.

...

Аннелизе – пятьдесят восемь. Она не пьет и не курит. Зарядку делает утром и вечером. На даче разводит розы и жасмин. Тяжелые сумки не таскает, отовариваться в супермаркет ездит на своем маленьком фольксвагене. Пьет только минеральную воду. На курорты ездит. Даже на Мертвом море две недели в грязях купалась. Приехала оттуда – кожа как у молодухи. Светится как утренняя заря в Пиренеях.

Немцы вообще здоровые как лошади. Не то, что мои бывшие соотечественники. Созвонился я недавно с Лукьяном, одноклассником. Лукьян рассказал, что половина нашего московского выпускного класса – уже на кладбище. Пьянство, курение, антисанитария, неправильное питание, тоталитаризм. Двое – в автомобильных авариях погибли. Один отравился водкой. Наташенька Голохвастикова, красоточка наша, вторыми родами умерла. Ребенка спасли, а ее нет. Муж дал дёру. Дети у ее престарелых родителей остались. Инка Малик умерла от болезни почек. Лекарство купить было не на что. А клоун наш классный, Димка Банжо – в Москву-реку бросился с Крымского моста. Из-за долгов. Лед башкой пробил и как ракета во льду застрял. Ногами кверху. Лукьян говорил, торчал он будто бы во льду целых три дня. Москва января девяносто третьего, понятное дело. Может, кто и помог. Пятерых наших ребят рэкетеры убили в девяностые. Фирмы из ничего организовали, открыли бюро и торговые точки. Еще двоих посадили в двухтысячные-нулевые. После того, как у них бизнесы отобрали. В тюрьме их опустили и заразили туберкулезом.

Ничего в России по-человечески сделать нельзя. Ни пожить, ни поработать, ни умереть...

Я тогда, после разговора с Лукьяном, специально Аннелизе про ее школьный класс спросил. Чтобы сравнить. Дети военных лет все-таки. Оказалось – все живы. Собираются раз в год в Золотом петухе. Любительский фильм делают после каждой встречи. Аннелизе показала мне фильм – все крепкие, спокойные, солидные. Но хмурые. Немцы. Вещи в себе.

...

Многие после объединения Германии на Запад уехали, пожили там и приехали назад. Некоторые и квартиры и семьи бросили. И в Америку подались. Или в Канаду.

Почти все оставшиеся тут, на территории бывшей ГДР, работу потеряли. Экологически грязные, морально устаревшие гэдээровские предприятия закрылись уже в первые месяцы после объединения. Немногие рентабельные фабрики бывшей ГДР были сознательно уничтожены западными конкурентами.

Поначалу люди растерялись. Потом почти все как-то устроились. Подрабатывают то тут, то там. Иногда и на пособия прозябают. Ничего, и так жить можно. Особенно, если тебе за пятьдесят пять и у тебя есть свой домик в предместье, с садиком и гаражом.

Сидят бывшие строители коммунизма в своих уютных пивнухах с оленями и кабанями на стенах, ругают вполголоса новые порядки и пьют пиво. Летают раза три-четыре в год в Барселону, Стамбул, Анталию, Грецию, Тунис. А потом рассказывают друг другу...

– Как там хорошо кормят и все вообще дешево...

– Гостиница только была грязновата. Гюнтер купил себе серебряный арабский кинжал с рубинами, а Эрна – персидский ковер и чучело крокодила с малахитовыми глазами. Ковер быстро вылинял, рубины из ножен кинжала вывалились и закатились под шкаф, а крокодила отобрали неизвестно почему чертовы таможенники. Я просила хотя бы глаза оставить, но таможенник сказал, что это не малахит, а пластмасса. А про кинжал сказал, что он не серебряный. Везде один обман. Но море там изумрудное. Только загажено сильно. Пахнет тухлой рыбой.

...

Работа в галерее была не пыльная. Посетителей приходило за день – от пяти до десяти человек. А иногда весь день никого не было. Я обрамлял и развешивал работы очередного художника, организовывал и проводил вернисаж. Представлял артиста гостям, кратко характеризовал его творчество, после этого следовали музыкальный номер (саксофон, гитара или барабан) и фуршет (пиво нескольких сортов, белое и красное вино, бутерброды). После откры-

тия делать в галерее было нечего. Выставки у нас продолжались два месяца. Аннелизе убиралась, мыла окна, пылесосила. Я читал искусствоведческие книжки или писал что-нибудь свое от скуки. Поначалу мы оба дисциплинированно отсиживали в галерее обязательные шесть часов. Потом я осмелел и уговорил пугливую Аннелизе разделить между нами присутственные часы пополам. Аннелизе вначале боялась проверок, коммунистическая картина мира – мы работаем, а всевидящие, всезнающие, карающие они нас наблюдают и проверяют – все еще крепко сидела в ее голове. Потом привыкла и начала всю использовать свободную жизнь – выполняла в рабочее время дома небольшие дизайнерские работы (Аннелизе закончила художественное училище), моталась по магазинам, навещала подружек.

Так мы работали, жили каждый своей жизнью и только раз в неделю пили вместе кофе с пирожными после завершения короткой субботней смены, которую не делили, а проводили вдвоем для обсуждения планов и распределения обязанностей. Наслаждались выгодами мирного сосуществования.

Трудно было, наверно, найти на всем свете более различных людей. Я – толстый, лысый, эмигрант, антикоммунист, мизантроп, эгоист, бобыль, обжора и циник. Да еще и еврей. Аннелизе – худая, стройная, с огромной копной крашенных рыжих волос, бывший член Социалистической единой партии ГДР, добрая, отзывчивая, спокойная, семейная, обязательная немка. Умеренная во всем. Даже отчасти верующая в Бога и регулярно жертвующая деньги на борьбу с малярией.

Противоположности, как известно, сходятся.

Однажды, после долгого скучного разговора о планах на следующую неделю...

Планов не было никаких, но я постоянно придумывал различные легкие дела для того, чтобы Аннелизе не чувствовала себя невостребованной, а в годовом отчете можно было бы отчитаться о наших социальных проектах (ненавижу это слово, его используют профессиональные шарлатаны), на которые мы собственно и получали деньги от саксонского министерства культуры.

Однажды мы собрали, расписали красками и увесили подарками четырехметровый деревянный корабль на колесах, с парусами, с командой из двенадцати кукол (платя кроила и шила Аннелизе), с широко раскрывающейся бегемотовой пастью, в которой прятались куклы-пираты и животом, в котором хранились игры-сюрпризы. Наш веселый корабль мы торжественно ввезли по длинному коридору городской библиотеки и установили в большом вестибюле, в котором проводились предрождественские детские праздники. Дети в первый же день ободрали корабль как липку. Сломали и украли все, что смогли. Мы увезли корабль после Рождества в галерею и целый год его восстанавливали для следующего праздника, не забыв, разумеется, выцыганить под эту работу еще пару тысяч евро у государства.

Так вот, однажды после субботнего кофе...

В тот раз мы ели творожные пирожные с взбитыми сливками, клубникой и мандаринами. Пища богов. Я пил капучино из любимой японской резной чашечки, Аннелизе – как всегда – эспрессо. Из белого голландского наперстка. Перед кофе и пирожными мы попробовали новый сорт французского козьего сыра. Сыр мы нарежали тонкими ломтиками и уложили на белый хлеб с маслом. Сверху положили дольки сладкого красного перца и листики петрушки. Резали мы все это роскошным кухонным ножом фирмы Золинген, купленным несколько дней назад для нашей галереи на деньги от очередного проекта. Я этот нож с темной удобной рукояткой и изящным длинным лезвием сам выбирал в дорогом магазине металлической посуды и гордился им как собачник гордится породистым щенком.

Допив свой капучино, я уже собрался было встать из-за стола и распрощаться с Аннелизой. Посмотрел на нее так, как смотрят на коллегу по работе или на старую мебель. Не то чтобы равнодушно. А так, с легким раздражением от нудности повторяющихся форм, слов и ситуаций.

Посмотрел... и увидел на ее лице выражение то ли скуки, то ли легкого беспокойства. Мне показалось, что в углах ее губ легла синеватой тенью озабоченность добропорядочной семейной женщины, хозяйки.

Ее лицо припудрил прах уходящего времени...

Это было так щемяще! Я встал, подошел к Аннелизе, нежно обнял ее, заглянул ей в глаза и поцеловал. Потом прижался лбом к ее тонким сухим губам. В мой нос ударил запах жасмина.

Аннелизе попыталась отстраниться, потом смирилась, замерла. Через минуту я ощутил, что по моему лицу текут ее горячие слезы. А еще через минуту ее язык уже переплетался с моим. Аннелизе обняла меня бедрами. Мы кое как устроились на стуле.

Этот первый наш любовный дуэт продолжался минут пятнадцать. Перед самым концом я услышал, что позади нас открылась дверь, и кто-то вошел в галерею. Подошел к нам и что-то хрипло прокричал. Потом крикнул опять. И снова и снова, громче и громче...

Тут невыносимо сладкий запах жасмина навалился на меня как стена, обвился вокруг горла, сдавил и не отпускал до тех пор, пока я не кончил.

...

Очнувшись через несколько мгновений, я наконец расслышал то, что кричал застывший нас на месте преступления Хайнц, зашедший за женой, чтобы вместе с ней поехать в только что открывшийся в центре роскошный шестиэтажный магазин и сделать необходимые покупки на уик-энд. Он размахивал нашим новым ножом фирмы Золинген и рычал: «Проклятая русская свинья!»

Оторопевшая Аннелизе тут же отлепилась от меня и убежала в туалет. Я встал, поправил одежду и отобрал у Хайнца нож. Сделать это было не трудно, руки бывшего слесаря дрожали, силы в них не было.

Хайнц перестал орать, сел на стул и уставился на картину на стене. На картине была изображена пустынная улица странного города, по тротуару шла красная кошка, ее шея была обвязана белой ленточкой, на которой красовался синий бантик. Из окна дома напротив на нее угрюмо смотрел мужчина с фельдмаршальскими усами, в темном костюме-тройке с бабочкой и в котелке. Глаза мужчины были широко раскрыты, губы сжаты.

Вскоре Аннелизе вернулась. На меня и не взглянула, а мужу улыбнулась просительной улыбкой. Хайнц заплакал. Мне стало его жалко.

После их ухода я решил выпить еще одну чашечку капучино.

Триста тысяч юаней

Перечитал сегодня мой рассказ «Жасмин». Первый опыт декоративного ковроткачества на тевтонском материале. Тот еще получился коврик. Как сюртук Чичикова – брусничного цвета с искрой. Кудряво написано. Поторопился я с его печатью в зеленых «Мостах». Не исправил несколько очевидных огрехов. Не все гнилые нитки выдернул. Прямые определения, повторы, авторские ухмылочки...

Засбоил. Потому что этот текст измотал меня своими поворотами-разворотами. Я ведь всегда везу в тачке – по совету Хэма – раз в десять больше того, что в текст попадает. Работаю дольше всего с невидимым, ненаписанным материалом. С безтекстом. Текста нет, а тяжесть есть. Вот и заносит на виражах. Высыпаются песок и камни. Приходится разгрести, убрать, пылесосить.

Странное чувство: «Автор – это вовсе и не я. Не ты, а кто же?»

Твой клон? Фантом? Мститель из подсознанки?

Астроном, конструктор точных приборов, точильщик призмочек и зеркалец, пожиратель спектров?

Нет, скорее азартный собиратель душистой травки чернухи, составитель душных как воротник у пальто холостяка гербариев, коллекционер морфем, этих золотых скарабеев, которые принято бросать в открытый рот читателя через глаза мертвый головы, ловец снов и другой нежной придури, шелкунчик арахисовых орешков – ассонансов и аллитераций, охотник за глазурованными сырками-големами, за лучающимися призраками свободы, за дикими псами-смыслами...

Черт его знает, кто, только не я.

Отражение в черной дыре.

А герои? Кто они? Выдуманные личности, фикшны? Или реальные люди-нон?

Поди, разбери! Мулаты-мутанты, незаконнорожденные половинки, скороспелки-самозванцы, восстающие на автора карбонарии. Сорняки на обочине пустыря, заросшего полынью.

Но их прихоти и капризы для меня – столпы и утверждения истины. Их бьют, а мне больно. Потому что они единственные заместители-заменители навсегда ушедших из моей жизни людей.

Депутаты парламента небытия, объявившего мне войну.

И автор – этот болтун-графоман – только мой заместитель. Заместил, заменил, освободил от ответственности. И строчит себе, забавляется, разводит турусы на огненных колесах.

Поэтому, ты, дружок, не горюй, а играй себе и дальше в уголке у камина брусничными ягодами на медном подносе с гравированными ангелочками. Шей сюртук. А если надоест – свари морс в алюминиевой кастрюле. Попей и расслабься. Булочку пожуй с изюмом. А если совсем плохо станет, походи, поброди по городу прошлого, где все улицы – как непрозрачное стекло.

...

Мы лежали на двух, положенных рядом друг с другом, матрасах.

Старинную двуспальную кровать орехового дерева, которую нам вместе с набором светло-зеленых кастрюль и выдавшей вида гэдээровской стиральной машиной несколько лет назад подарил священник кирлитцкой церкви «Мадонны милосердной» отец Непомук, я продал. Дешево отдал. Очень уж хотел от нее избавиться – кровать возвышалась в спальне как зловеющий замок на равнине, назойливо напоминала мне о закончившейся недавно неблагополучной семейной жизни.

Полпятого утра.

Огромная комната с двумя высокими полукруглыми окнами уже пронизана бледными, изрезанными кружевной занавеской лучами июльского солнца, отраженными от окон дома на другой стороне Бланкенбургской улицы, одной из самых шумных и вонючих в городе.

Моя подруга еще спала, раскинувшись на простыне как распятый рядом с Иисусом разбойник и разбросав по смятой в гармошку лиловой подушке свои прекрасные золотые волосы, а я проснулся и страдал от неутоленной страсти.

Погладил спящую по щеке и осторожно поцеловал в невыразительный светло-розовый сосок маленькой груди, вылезшей из голубой шелковой – с белыми журавликами – ночной рубашки. Влада открыла глаза и прошептала: «Милый, да, да!»

Подалась ко мне и вдавила свою грудь мне в рот как сливу.

...

Около шести мы расползлись по своим матрасам, Влада уснула, аккуратно уложив предварительно волосы и обернув их косынкой, а я задремал. Тело блаженствовало, душа почему-то ныла, ну да мне к этому не привыкать.

Перед глазами медленно побежали рыжие лошади, которых я когда-то в прежней жизни видел в Приэльбрусье. Прошел полупрозрачный абрек в бурке и папахе, улыбнулся мне и помахал нестрашно шашкой, за ним проплелся добрый ослик с картины Пиромани, сидящий на нем грузин с зонтиком в руках снял свою бархатную шляпу и поприветствовал меня.

Передо мной открылся потрясающий вид на двуглавую вершину Эльбруса, освещенную заходящим солнцем. В голове прошелестело – Чегет, Чегет...

В последний момент перед окончательным растворением в блаженном снежно-розовом свете я очнулся. Потому что услышал странные шорохи из соседней комнаты и тихие голоса.

Сон исчез как капля горящего спирта на ладони.

В голову ударила зеленая молния: «Жена вернулась! С детьми!»

Что делать? Жена приехала ночным поездом, предупредить не смогла, потому что у тебя в проклятом Кирлитце нет телефона, хотела сделать сюрприз, помириться, а ты валяешься с этой дурой на ложе из матрасов, семейную кровать продал...

Что ты дочкам скажешь? Они сейчас в спальню ввалятся, папа-папа, и увидят – кровати нету, а голый папа с незнакомой тетей.

Второй раз в жизни впал я в панику. Первый раз это случилось на склоне той самой горнолыжной горы Чегет. Рыжие красавицы лошадки окружили меня, одинокого путника, забредшего сдуру на альпийский лужок, где пасся полудикий табун – голов в триста – и начали давить меня замшевыми боками и так неприятно ржать и фыркать, что мне показалось, будто они задумали раздавить меня насмерть. Спас меня тот самый абрек в папахе. Появился как Бог из машины, заорал что-то гортанно на проклятых лошадей, и они от меня отстали.

Лежу и паникую. Ожидаю торжественного входа в спальню жены с двумя дочерьми. Ноги и руки похолодели, в висках страх молотком бьет.

Ужас...

Разбудил Владу.

– Милая, вставай, одевайся, моя жена приехала. С дочками. Сейчас они сюда войдут!

Златовласка моя открыла глаза, скорчила недовольную мину, зевнула... Потом поняла и быстренько, как змея, спряталась под одеяло. Затаилась. Как-будто ее и нет вовсе. Я даже одеяло потрогал, потому что мне показалось, что она на самом деле исчезла. Как морок. Нет, Влада была на месте, даже не дрожала, а только нервно хихикала. Гадюка!

Не надо было кровать продавать, сейчас бы спрятал ее под ней, как в французском фильме. Под нашей кроватью целый гарем поместился бы.

Я зажмурился, боялся встретиться глазами с дочерьми. Но никто в комнату не входил.

Прислушался. Шорохи. Голоса вроде громче стали. Расслышал несколько слов. Вроде и не по-русски и не по-немецки. Что за дьявол?

И тут меня осенило – это не жена, это воры! Румыны или цыгане. Взобрались по лесам, которые у нас во дворе уже год стоят, хотя никто ничего не ремонтирует. И влезли в открытое окно на кухне. Ходят теперь у меня как в магазине, решают, что взять, а что оставить.

Какое облегчение! Пусть воры, злодеи, бродяги, черти, только не жена с детьми. Сейчас завернусь в простыню и выйду их приветствовать в коридор.

Воры по-видимому решили, что никого дома нет. Когда я, босой, небритый, завернутый в лиловую простыню и ничем кроме моей радости не вооруженный, стремительно открыл дверь и вышел в коридор – оба вора спокойно рылись в моем секретере.

Увидели меня, опешили. Маленький стремительно направил на меня дуло моего браунинга, а другой, повыше и постарше судорожно прижал к груди мой любимый Никон и серебряную шкатулку с деньгами. Масляные, карие глаза обоих источали страх и смертельную ненависть. До меня еще не дошло, что передо мной дети – примерно четырнадцати и двенадцати лет, как младший выстрелил мне в живот. Если бы мой браунинг был заряжен боевым патроном, я бы наверно быстро отдал концы. Но – о счастье! – мое оружие было всего лишь пугачом. Выстрел был громкий, но холостой. Меня даже не обожгло вырвавшимся из дула как дьявол из пекла оранжевым огнем. Я заорал что-то для храбрости и кинулся на злодеев как Тарас Бульба на поляков. Малыш бросил пугач и метнулся к входной двери. Крутанул торчащий в замке ключ. Второй отшвырнул шкатулку и фотоаппарат и тоже бросился к выходу. Воры быстро открыли мою стеклянную дверь и рванули вниз по лестнице.

Как раз в это время жилец первого этажа, нелюдимый строитель-подрядчик Штайнман выводил из своей квартиры на прогулку овчарку Жаклин. Характер у Жаклин был трудный. Нервы у этой собаки были расшатаны сумасшедшей семейкой строителя. Сын хулиган и дочь проститутка часто приходили, выпивали у родителей весь шнапс, съедали, все, что можно, и канючили у подрядчика деньги, а он терпеть этого не мог и вымещал злость на жене – долгоязыкой кобыле Мэнди. А та в свою очередь вымещала злобу на Жаклин. Мэнди ненавидела Жаклин как соперницу, она привязывала собаку к решетке камина и била ее кочергой по голове. Жильцы соседних квартир все знали, но никто и не думал доносить в общество защиты животных, мрачного подрядчика побаивались, и свирепая, вечно на всех рычащая и лающая Жаклин с огромными красноватыми зубами не вызывала особенного сочувствия.

Со своего четвертого этажа я услышал бешеный лай овчарки, зверский окрик Штайнмана, пытавшегося по-видимому оттащить злобного зверя от маленьких негодяев, попавших в ловушку. Входная дверь в подъезд была еще заперта. Чуть позже я услышал громкую ругань и стоны покусанных воров.

Я удовлетворенно закрыл входную дверь, вымыл руки, поднял и положил назад в секретер шкатулку и камеру, хлебнул два раза из горлышка холодного Мартини из холодильника и пошел в спальню. Рассказал все Владе. Посмеялся вместе с ней над собой. И, свободный и счастливый как горный орел, парящий над Чегетом, с удовольствием растянулся на своем матрасе. Заснул. Мне приснился забавный сон.

...

Сон о том, как накладно быть владельцем троллейбуса.

Вот, сижу я в подозрительном бюро с круглым окошком, из которого открывается вид на Золотой мост в Сан-Франциско, составляю какие-то сметы, считаю что-то на арифмометре и смакую почему-то апельсиновый сок, который в не сонном, бодрствующем состоянии терпеть не могу, потому что кишки разъедает...

Сижу, смакую, считаю, а думаю – только о моем троллейбусе. Переживаю за него. Потому что он – на линии. На дворе дождь, туман, фиолетовая мгла, по причалам бродят невообразимые чудовища, похожие на гигантских морских львов. Ветер воет. Буря! Но троллейбус должен строго по расписанию следовать по маршруту. Задыхающийся, больной астмой водитель дол-

жен вежливо объявлять остановки, открывать и закрывать двери, трогаться, тормозить, следить за дорогой.

Пассажиры мой троллейбус не любят, они вытирают о чистый пол грязные ноги, режут мягкие сиденья ножами, царапают стекла алмазными стеклорезами, выворачивают с мясом поручни, разбивают лампы, ломают автоматические двери, плюют, курят, устраивают драки, лупят в исступлении по пластиковым стенам своими тяжелыми черными ботинками.

Ко мне в бюро вбегают кредиторы, похожие на куклу Петрушка. Носатые, в красных колпаках и полосатых брюках. Руки у них четырехпалые. Петрушки-кредиторы требуют немедленно выплатить им проценты по займам. Грозят своими гнусавыми голосами откусить мне нос. Пляшут передо мной какой-то невыносимый гопак. Сверху вниз, по полированным стальным стержням, как пожарные, беззвучно соскальзывают налоговики-контролеры и выстраиваются передо мной полукругом. Их лица похожи на дурацких идолов с острова Пасхи. В их каменных руках – бухгалтерские книги. И вот я уже в суде. Толстомордые судьи-бурундуки мрачно смотрят в пол, а мои ослы-адвокаты брезгливо от меня отворачиваются и глазуют на полные бедра свињи-блондинки в третьем ряду.

Медленно и жутко поднявшийся из-под земли хор-профсоюз требует сейчас же повысить зарплату водителю.

В бюро вваливается граф Цеппелин с моделью дирижабля в руках. Не без скрытого торжества он рассказывает мне о том, что цены на запчасти для троллейбусов выросли, а китайский юань упал.

– Пересаживайтесь на дирижабли, призывает меня граф, – переходите на юани...

И он показывает мне пачку затрепанных банкнот различных цветов с противной кукольной мордой Мао.

Прямо через круглое окно ко мне в бюро въезжает мой троллейбус и застывает у меня перед носом. Он пуст. Нет ни водителя, ни пассажиров.

Я беру троллейбус в руки, очищаю его от грязи и аккуратно запаковываю в подарочную коробку. Затем звоню в Гамбург моему богатому приятелю и предлагаю ему купить троллейбус.

– Почти как новый! Отдам задешево. Триста тысяч юаней.

Лепрекон

Дядя Боря подарил мне, семилетнему жителю Дома преподавателей на Ломоносовском и регулярному посетителю филателистического отдела в книжном магазине за углом, коллекцию почтовых марок, большой, старомодный альбом. На первой же его странице между бравым синюшным Джузеппе Гарибальди (150 лет со дня рождения народного героя Италии) и могучим отечественным Белым медведем красовалась почтовая марка СССР 1957 года «Падение Сихотэ-алинского метеорита 12.2.1947». Достоинством в 40 копеек. На марке, которую я рассмотрел в бабушкину лупу, была изображена деревня, щербатый как рот ветерана забор, домики на фоне синих гор и желтое зарево над ними. Нечистое небо и искусственные облака пересекала какая-то косая, расширяющаяся кверху дубина. Слово «Падение» на марке было написано через «ч» – «Паденче».

...

Кстати, вы замечали, что слова с «ч» неблагозвучны? И неприятны как собачья шкура с проплешиной или смуглая скула с розовым чирьем.

Человек, Чиновник, Червяк, Чулок...

У Чехова эта полная национального гноя шипящая пролезла сквозь имя в легкие и обернулась чахоткой. Да, господа, Чехова погубила не Ольга Леонардовна, от игры которой у него чесалось в горле, а буква «ч». А Пушкина вознесла на небывалую высоту легкопера, полетная буква «п». Пушкин – не пушка, а пушинка. Два колеса велосипеда, на котором сумасшедший хохол Гоголь въехал в заколдованное место русской прозы – это два «о» в его фамилии.

– Го-го-го, – тихо ржет Гоголь-велосипедист на середине Днепра, – го-го-го... Цик-цик-цик, – отвечает ему с Черной речки сверчок Пушкин.

Попросить взрослых растолковать мне надпись и картинку на метеоритной марке я стеснялся. Отвратительное слово с фурункулом – «паденче» вызывало у меня отвращение. Я не понимал, что это за странная дубина застряла в небе. Сихоте ассоциировалось почему-то с Дон-Кихотом Ламанчским. Прочитать толстенную книгу мне было еще не под силу, но иллюстрации Гюстава Дорé я рассматривал, пожалуй еще чаще, чем заходил в книжный, поглазеть на витрины с марками и понюхать запах кляссеров. Алинский привязалось к имени завуча нашей школы, неопрятной и злой Алины Викторовны. Ключевое слово надписи метеорит я тогда тоже понимал по-детски – мне представлялось, что это не предмет, а особая болезнь, вроде небесной скарлатины, поражающая изображенной на марке дубиной земных детей.

Однажды мне приснился кошмар. Дубина-метеорит проникла в мою комнату и замерла, в готовности ударить, прямо над моей кроватью. Я закричал, пришла мама, я рассказал ей мой сон, показал марку. Это событие имело неприятные последствия (никогда не рассказывайте никому ваши сны – вас не поймут и обязательно обидят или накажут). Мать не дала мне денег на серию почтовых блоков Фауна Кубы, выпущенную во время Карибского кризиса, обладатели которой пользовались в нашем дворе почти таким же почетом, как владельцы пятиметровых шаровар во дворце Топкапи. Видимо побоялась, что изображенные на кубинских марках рептилии, насекомые и летучие мыши как-то проберутся ко мне в комнату и причинят мне зло.

...

Когда я учился в третьем что ли классе нам показали в школьном актовом зале про Сихотэ-алинский метеорит кино, и все постепенно расставилось у меня в голове по своим местам. Кроме паденче, разумеется. Я был вполне советским ребенком – мне и в голову не приходило, что нечто напечатанное может быть ошибкой или ложью.

До сих пор не могу забыть восторженно-доверительный голос диктора, рассказывающего про удивительное природное явление и несколько экспедиций, посланных это явление исследовать.

Против сильного течения реки Бейцухе шли на шестах.

Только двадцать километров отделяли экспедицию от цели.

Но труден путь по уссурийской тайге! Дорогу преграждали завалы, полные вешних вод ручьи.

Внезапно тайга поредела. Кратер! Другой! Третий! Целое кратерное поле!

В тайге вновь застучали топоры.

На шестах означало тогда для меня – на ходулях. Кратеры представлялись мне кратерами вулканов, полными багровой лавы, а застучали топоры я понял так – ученые начали от радости исступленно стучать по деревьям тыльными частями топоров. Как дятлы.

...

И почтовая марка и фильм появились через десять лет после падения Сихотэ-алинского метеорита. Почему не через год-два? Или не через месяц?

На дворе 1947 год. Разруха. Голод. Миллионы советских людей сидят в тюрьмах или доходят в лагерях. Не репрессированные строители коммунизма не могут спать по ночам. Боятся ареста. И перестают стучать зубами, только если кого-то в их подъезде уже забрали этой ночью. Значит – сегодня не меня. Можно поспать.

Их энтузиазм и собачья преданность усатому вождю непоколебимы, безграничны...

Разобравшись с внешними врагами, поделив мир и организовав красный террор в освобожденных странах Восточной Европы, неплохо бы и на своей территории потешить молодецкую силу – раззудись плечо – поквитаться с власовцами, полицияками, советскими военнопленными и жителями оккупированных немцами территорий, с крамольными журналами Звезда и Ленинград, с историками, с репертуарами театров, с пушкинистами, киношниками и другими низкопоклонниками перед Западом, заискивающими, искажающими советскую действительность и безыдейными, а потом – размахнись рука – ударить по безродным космополитам, по членам Еврейского Антифашистского Комитета, по врачам-вредителям и прочим вражинам. Великие свершения великой страны!

И тут на тебе... Сталину докладывают о взрыве в Приморье. Так мол и так, что-то колоссальное взорвалось в атмосфере и на землю упало.

Сталин говорит с акцентом, не торопясь, хоть и раздражен, в паузах глубоко затягивается дымом из трубки, недобро смотрит на докладывающего. Рябая морда ящерицы не выражает никаких эмоций, кроме застарелого презрения к людям.

– Что там взорвалось? Почему не дасматрели? Кто зачинщик? Метеорит? Или атомная бомба? А кто его к нам послал? Почему ударили па советскому Приморью, а не па США? Атарвался из пояса астероидов? А кто его атарвал? Чан Кайши? Срочно пашлите наших товарищей в Приморье. Пусть возьмут с собой саперов и других специалистов, может быть метеориты заминированы или отравлены. Или все это – правакация? Вредительство, террор, интервенция? Сабрать все метеориты и срочно даставить в Москву! Праве-рить, абезвредить, далажить. Виновных наказать по всей строгости закона!

...

Поехал я однажды тут, в Берлине, на блошинный рынок. Хотел побродить среди людей, посмотреть на всякие любопытные вещицы... чтобы хоть ненадолго отвлечься от русского языка, этого капкана, отрывающего меня от настоящего, гонящего против течения немецкой жизни, вспять, в прошлое, в мир мертвых... и купить какую-нибудь ненужную штуковину. Покупать нужное – скучно. Приятно приобрести что-нибудь ненужное, но забавное, евро эдак за двадцать. С одной стороны – не велика потеря, с другой – захотел и купил, удовлетворил исконную потребность члена общества потребления, стал хоть на несколько минут таким же, как все!

Помнится, купил я лет пятнадцать назад круглый бронзовый барельеф. Небольшой, в две ладони. Старик экспрессивный, изображен в профиль. Заплатил 12 марок. Пробыл я в

нем варварски сверху дырку гвоздем, проволоку в дырку всунул, сплел петельку и повесил над кроватью на гвоздике.

Приходит ко мне моя ненаглядная Франческа. Глянула на мой барельефчик и зафыркала-запрыскала, даже закашлялась.

– Ты, говорит, кхы-кхы, кого это на стену повесил?

– Сама видишь, старичка горбоносого, купил на блошином рынке. Смотрит выразительно так... Громобой!

– Громобой? Ты что, офонарел? Стареешь! Бороденка вперед. Нос крючком. В правой руке мешочек с деньгами... А ты, стало быть, купил, на стенку повесил и будешь теперь на него пялиться и наслаждаться? Вот уж действительно, подобное к подобному тянет! Протри глаза! Это же Иуда Искариот с фрески в Милане. Леонардо! Ты еще тогда сказал – единственный еврей во всей гоп-компании.

...

Ну так вот, брожу я по рынку, рассматриваю товары, слушаю ужасный берлинский диалект, приобщаюсь европейской цивилизации. И вдруг замечаю на прилавке среди различных статуэток, медалей, тарелочек, браслетов, биноклей, старых часов и прочего хлама – две милые коробочки. Коробочки открыты, и в них лежат странные какие-то камешки или железки. Сантиметра по три-четыре в поперечнике. Спросил седого дядю-продавца с сонной мордой, можно ли в руки взять. Тот кивнул, зевнул и отвел глаза...

Положил коробочки на левую ладонь и стал глядеть на камешки через увеличительное стекло.

Ба! Да это метеориты! Железо-никелевые! Октаэдриты! Индивидуальные, не какая-нибудь шрапнель! Оплавленная корка, а чашечки-регмаглипты такие, как будто кто-то целовал железную плоть всасос, высасывал и отплевывал ее куски прочь.

– Сколько хотите за пару?

– Сто. Заключение экспертов есть. Сихоте-Алинь, лучший товар.

– Даю пятьдесят.

– За пятьдесят я бы и сам купил.

– Шестьдесят.

– Ладно, забирайте за семьдесят. Уже три года не могу продать...

...

Я положил коробочки в карман и поехал домой на с-бане. По дороге любовался покупкой, сжимал метеориты в руках. Пытался ощутить космическую энергию. Метеориты как будто плавильсь у меня в руках. Мне даже показалось, что они светятся.

Я представлял себе, как они, тогда еще части небольшого астероида, осколка расколовшейся планеты Фаэтон, покоились себе в его толще, вертелись вместе с ним миллионы лет между Марсом и Юпитером, а потом прилетевшая из загадочного облака Оорта дура-комета ударила астероид в его выпуклый неровный бок. И он сошел со стационарной орбиты и понесся по направлению к голубой планете. Догнал ее, вошел в атмосферу, разогрелся... несколько раз взрывался и дробился... и упал бешеным железным роем где-то в тайге между заснеженных сопок Сихотэ-Алиня. Снег зашипел...

Вскоре моих красавцев подобрали и припрятали геологи, гэбисты или саперы, те самые, которые шастали по тайге на ходулях и стучали топорами по деревьям и разминировали метеориты по приказу Сталина... а через пятьдесят лет их дети или внуки, выпущенные наконец из душной советской зоны на волю меченым генсеком, провезли, дрожа, через таможенную метеориты в Европу и продали по дешевке оптовому торговцу минералами, неприятному потному старику с бородавками на лбу. Тот вложил их в ювелирные коробочки по марке за штуку, приложил к ним фальшивые свидетельства с печатями и выставил на продажу. Какой-то семейственный бюргер купил их для сына-гимназиста, якобы увлекающегося астрономией (сломал

уже два бинокля и один телескоп-рефрактор), и тот играл с ними на диване целых десять минут. Потом показал подружке, кокетке и дурочке. На ту небесные камешки впечатления не произвели, и сынок зашвырнул их под кровать, вместе с коробочками. Там их нашла заботливая мама, почистила, завернула в веленевую бумажку и положила в ящик письменного стола. Глава семейства вынул их оттуда только через восемь лет, после развода с веленовой женой, после потери работы и дома, после ухода сына, сделавшего к тому времени несовершеннолетней подружке ребенка, бросившего институт и разбившего вдребезги семейный ауди, и продал их на блошином рынке. Что с ними еще делать-то?

Такая же примерно судьба ожидала метеориты и у меня. Я конечно забавлялся бы ими подольше, чем сын предыдущего владельца. Начал бы их фотографировать, гадать по ним, искать в их необычных формах скрытые фигуры. Дал бы им имена. Высосал бы из них всю космическую энергию и зарядил бы их своей. Бессовестно использовал бы их падение в каком-нибудь душещипательном рассказе с ужасным концом – как метафору для эмиграции... А через пару месяцев забросил бы глупые камни под кровать или положил бы их в особый ящик моего комода, туда, где уже лежал барельеф с Иудой, пробитый гвоздем, альбом для марок и десятка три других забавных, давно осточертевших мне предметов, о которых я возможно еще расскажу. Там бы их вероятно и нашла дочка после моей смерти. Повертела бы пальцем у виска. И отнесла бы метеориты на блошинный рынок...

Но судьба их сложилась иначе. Случаю было угодно, чтобы метеориты еще раз попали в историю, пусть и не в космическую, а в морфическую. И не через годы, а ровно через неделю после их покупки.

...

Да, именно через неделю после покупки метеоритов ко мне проездом из Цюриха в Иваново приехал мой старый друг Нэт. Был он, как и я, бывшим совком, и звали его конечно по-другому. Но я его еще много лет назад прозвал Нэтом в честь и им и мной любимого чернокожего певца Нэта Кинг Коула с бархатным низким баритоном, и он охотно на Нэта откликался.

Приехал Нэт, как всегда, без приглашения, неожиданно-негаданно. Артист!

Не буду мучить читателя изложением истории жизни моего друга, описанием его характера и наших отношений. Не хочу этот однодневный, трагикомичный рассказ утяжелять свинцовыми мерзостями жизни – злокачественным нарциссизмом, ложью и всяческими подлостями. Оставим это неблагоприятное занятие вечным завистникам.

К делу! Как сказал палач, задумавшийся было о смысле жизни. Сказал и вложил голову осужденного преступника в отверстие гильотины. Поправил корзину. И дернул за веревочку.

После обильного ужина сидели мы на нашей семейной итальянской софе. Ели десерт – крупную чернику с взбитыми сливками. Франческа молчала. А Нэт рассказывал о своем последнем концерте в Монте-Карло.

– Велиикий был концерт, граандиозное шоу, – тянул Нэт, покачивая головой, жмурясь и смакуя сливки...

– Мировая премьера, новое слово, прорыв, каждая нотка прозвучала, Рахманинов ликовал, оркестр играл как один человек, по залу летали ангелы... Я был в ударе, зал не дышал... Публика таяла от моих обволакивающих звуков, после окончания бисов началась овация, мужчины ломали стулья, а дамы срывали с шей бриллиантовые колье и кидали к моим ногам...

– Привез бы хоть одно. Или ножку от стула...

– Ну что ты, я не взял ничего, драгоценности поднял и вежливо вручил владелицам. Так они потом их мне по почте высылали. Предлагали отдаться и состояние. Одна обещала подарить мне замок с семьюдесятью восьмью комнатами. Ключи прислала! Другая, принцесса между прочим, уговаривала незамедлительно вступить во владение ее средиземноморской усадьбой с яхтой и пятьюдесятью пятью афганскими сенбернарами. А третья...

– Незамедлительно? Усадьба, яхта и пятьдесят пять собачек? Неплохой улов! Только вот, чем бы ты их кормил, принц? Гречневой кашей?

– А третья прислала мне акции компании, занимающейся продажей земель на Марсе. Для будущих переселенцев. На сто тысяч долларов прислала акций. И кольцо с марсианским камнем...

– Чудесно! Пробовал загнать акции и кольцо?

– Сливки у вас хороши!

– Франческа купила настоящий ванильный сахар. Не халтуру с Мадагаскара. Послушай, Нэт, ты человек великий, марсианин, миллионер, сенбернар, признаю... ты уж нам, берлинским нищелюдам, сделай одолжение, сыграй что-нибудь на фортоплясах. Только вчера настройщик приходил. Полсотни выложить пришлось. Ноктюрн или балладу. Чтобы и у нас в гостиной ангелы поселились.

...

Честно говоря, я слушать его игру не хотел. Отгорела у меня любовь к музыке годков этак тридцать пять назад. Для Франчески старался. Потому что она безумно музыку любила и сама по клавишам постукивала. Мне из дома уходить приходилось. И скандалы с соседями терпеть.

Нэт долго себя просить не заставил. Сел и заиграл что-то печальное. По комнате полетели звуки... как светлячки...

Франческа слушала жадно, прижимая к груди платок и оттопырив пальчик. А я потихоньку заснул.

А метеориты мои лежали на журнальном столике перед софой.

Источали голубоватое сияние.

Ждали своего часа, как то чеховское ружье на стене.

...

Ждать им пришлось недолго.

Как в тумане я видел – вот, Нэт закрыл пианино и присел на софу. Полупрозрачная Франческа начала его славословить, вытягивать шею, вздымать грудь, ломать суставы и пожирать Нэта своими глицериновыми глазами.

– Маэстро, bravo, вундербар, вандерфул, белиссимо, экстраординаер...

А он... вот же подлец... разомлел и положил свою огромную бритую голову ей на колени! А она стала ее гладить розовой лапкой. А он замурлыкал как кот в сапогах. И стали они нежно так переглядываться и токовать. Как влюбленные голубки. У меня на глазах.

...

Все говорят аффект-аффект...

В аффекте мол схватил топор и прикончил жену и ее любовника.

Не было у меня никакого аффекта. Не было естественно и топора. Но как-то реагировать нужно было! Даже в обволакивающем сне и синеватом тумане.

Достал я метеориты из коробочек, поиграл ими, как игральными костями... положил их на правую ладонь, размахнулся как дискбол и ударил моего друга по голове. Да так сильно, что метеориты в его череп вошли, как инкрустации в дерево. Глубоко-глубоко. И засверкали на нем, как бриллиантовое кольцо на красном бархате.

А Нэт вместо того, чтобы затрястись в агонии и умереть, стал почему-то маленьким, морщинистым и гадким. Спокойно так на меня посмотрел, улыбнулся неприятно и сказал: «Спасибо тебе, Вадя, за полосатые носочки! Буду в них танцевать и колокольчиками звенеть! А еще у меня зеленые ботиночки есть! И горшочек с золотом! Пули-пули-пули...»

И пустился в пляс на потолке. И танцевал, танцевал...

Пока я не проснулся.

Франческа трепала меня по щеке и тянула за руку.

– Милый, вставай, пойдем в спальню, там уютнее. Нэт уже два часа дрыхнет на диване в твоём кабинете. Ему завтра рано вставать. Самолет в Шереметьево вылетает в восемь. Пока ты спал, я фильм посмотрела. Про лепрекона. Такой милашка...

НЛО в Берлине

Недавно мне по почте прислали рукопись, найденную в бумагах умершего пациента одного из домов престарелых в пригороде Атланты. Ее обнаружила медсестра, но не сожгла вместе с остальными личными вещами покойного через полгода после его смерти, как следовало по закону, а вымарала имя автора и передала своему приятелю, интересующемуся летающими тарелками, зелеными человечками и чупакабрами. Приятель этот попытался было продать рукопись редакции UFOлогического журнальчика в Бостоне, печатающего сообщения «контактеров». Но редакция ее, уж не знаю по каким причинам, отвергла. Хотя приятель просил всего-то пятьдесят баксов.

Рукопись пошла по рукам...

Последний владелец, мой давний интернетный знакомый и также, как и я, эмигрант из бывшего СССР, купил ее на блошином рынке в Нью-Йорке за пять баксов и прислал мне, в Германию. Потому что я, зная о его особом интересе к космическому и сверхъестественному, просил его лет десять назад найти для меня еще не опубликованное свидетельство очевидца, если таковое попадет к нему в руки. Я как раз собирался тогда писать рассказ о НЛО, и мне нужна была подлинная история контактера... хотелось взять за основу реальное событие, а не выдумывать.

Этот же знакомый перевел по моей просьбе рукопись с английского на русский.

Предлагая рукопись читателю, не льщу себя надеждой, что кто-либо испытает катарсис или хотя бы поверит покойнику на слово. Меня эта рукопись привлекла даже не рассказом о «близком контакте седьмого рода», подозрительно смахивающем на некоторые известные киносюжеты, а схожей с моей мотивацией автора. Почти все свои рассказы я написал для того, чтобы «наконец разобраться с чем-то, глубоко поразившим меня» и «поставить точку». То, что вместо точки так часто вылезает вопросительный знак, не моя вина.

...

Прошло ровно полстолетия с того памятного августовского вечера, когда с нами, с моим другом Томасом С. и со мной, случилось это странное и ужасное происшествие, которое так сильно и страшно повлияло на нас, и мы, после того, как пришли в себя, и стало ясно, что надо – плохо ли хорошо ли – жить дальше, поклялись друг другу никогда никому не говорить ни слова о происшедшем – не только для того, чтобы жить и дальше жизнью беззаботных студентов, и не возвращаться постоянно в мыслях в тот прохладный вечер в северной Калифорнии, но и потому, что нам все равно никто бы не поверил, а если мы стали бы настаивать, созывать пресс-конференции или обращаться на телевидение, то вполне возможно попали бы в психушку, или в лапы к людям-в-черном, которые скорее всего выбили бы электрошоком воспоминания из наших голов, как они поступили со стариком Хэмсоном, который, не вынеся ужаса искусственно созданной амнезии, вышиб себе мозги выстрелом из двустволки.

Да, нам не хотелось вечно пытаться себя, задавать себе бесконечные бессмысленные вопросы... потому что ответов на эти вопросы попросту нет. И мы это почувствовали сразу после случившегося, тогда, в шестидесятые. И постарались с этим примириться, поскорее забыть и убежать подальше и физически и метафизически от этого проклятого поселка на берегу океана, состоящего из деревянных летних домиков-коттеджей, в которых торчат в летнее время ищущие прохладу и одиночество богачи из Лос-Анджелеса. Где все это и произошло.

К сожалению, года через три после окончания университета, я потерял связь с Томасом. Он женился на хорошо обеспеченной англичанке, так и не повзрослевшей фанатке Битлз, и уехал жить в ее поместье, в Англию, где, по слухам, родил троих детей и сделал научно-военную карьеру, умудрился не только продать тупоголовым милитаристам свою идею, но и смог

превратить ее на их средства в готовое изделие... действие которого испытали на себе позже несчастные аргентинцы в той безобразной и никому не нужной Мальвинской войне.

Жив ли он сейчас, сдержал ли он слово или выдал кому-то нашу тайну, я не знаю.

Ни английская, ни американская пресса, кажется, пока ни словом не упомянули про наш случай. По крайней мере, я не нашел упоминания о нем в тех газетах, которые читал в семидесятые-восемидесятые, а позже и в интернете. Возможно, после стольких сенсационных публичных откровений других «контактеров», вроде фермера Прискинда и этих идиотов, супругов Нил, с их шариками, иглами и светящимися треугольниками, наш откровенный рассказ никого бы и не поразил...

Но это уже не играет никакой роли... мне, только мне одному, важно записать для себя то, что я еще помню и поставить этим наконец точку на этой ужасной истории, залечить застарелую рану, которая до сих пор кровоточит, несмотря на то, что я пятьдесят лет молчал и пытался забыть. Или, может быть, именно поэтому. Но, согласитесь, не мог же я, сын сенатора-республиканца и истовой католички, просто так, за ресторанным столиком, в кругу семьи или в полиции... рассказывать в подробностях о том, как совокуплялся с инопланетянкой, а потом крутился колесом грузовика непонятно где, путешествовал между звездами, как этот, с лошадиным черепом... капитан Жан... и носился по загробному миру! Я ведь не Голливуд, которому прощают все.

...

Ладно, по порядку.

После четвертого года обучения в университете Миранды мы решили прокатиться по Калифорнии. Взяли напрокат машину... Pontiac GTO. Пепельно-голубой красавец, не автомобиль, а тигр... мощный, роскошный... Мы его боготворили, и наши ветреные подруги млели и таяли в его кабине... несмотря на «переоценку ценностей и критику капитализма». Круче нас были только байкеры, «беспечные ездоки», которых мы с удовольствием обгоняли на хайвэях. Эти парни на своих харлеях были настоящими хиппарями, а мы с Томасом – только хиппующими хипстерами... каждому свое.

Томас выцоганил у своего состоятельного папаши три тысячи, а у меня и свои монетки водились. И мы поехали.

Искали отели подешевле (вроде мотеля Бейтса), ели только фрукты и таскались по пляжам и барам. Курили травку... жевали сахарок с ЛСД... но настоящий трип так и не пришел, хотя шутник Томас изо всех пытался показать мне, как его проняло... хрюкал и ржал и орал что-то про «бронзовую башню на колесиках и прыгающую с ее крыши голую женщину с огромной головой и ребенка-демона». Но я ему не поверил... мне-то самому привиделись тарантулы... стою я будто в каком-то замызганном коридоре... и тарантулы лезут из дырки в стене и я их бью, бью тапочком, но раздавить не могу, и очень боюсь укуса. Мерзко было ощущать мягкость тапочка, как будто глядящего мерзких пауков. Я интерпретировал это видение так – я слишком мягок, нерешителен для этой жизни. А тарантулы все выползали и выползали...

Я про них Томасу и не рассказал, не хотел, чтобы он меня еще и тарантулами дразнил и предлагал сплясать тарантеллу.

От ЛСД я ожидал чего-то более интересного. Космического путешествия или сюрреалистического секса. Наверное, нас надули продавцы-мексиканцы недалеко от морского порта в Сан-Франциско... надо было бы их найти и припугнуть томасовой пушкой.

...

Да, мы искали девушек... с оранжевыми ленточками на лбу и цветочками в руках... и находили... и наслаждались жизнью, как могли... несколько раз ввязывались в драки... Томасу выбили зуб, а мне сломали палец, один раз нас даже задержала полиция за неправильную парковку и грубый ответ полицейскому... выписали квитанцию на штраф и отпустили. Томас

умудрился подхватить гонорею вместе с трихомонозом... славно, в общем, прокатились, загорели и оторвались.

А в конце... заехали в какой-то поганый городок... как же он назывался? Санта Роза?

Нет вроде. Не помню... Решили в кино сходить.

Что-то крутили там научно-фантастическое... еще музыка так неестественно сладко ныла. В очереди за попкорном познакомились с двумя девушками. Местными, кажется...

Обе платиновые блондинки или альбиносы, грудастые и длинноногие. И так друг на друга похожи, что не отличишь. Близняшки? Мы спросили, а они только рассмеялись в ответ. Пожимали плечами, хихикали и целоваться лезли.

Куколки.

Во время сеанса только обнимались-целовались. Решили найти хазу, широкие кровати и потрахаться вволю. И девушки, кажется, хотели того же.

Нет бы нам догадаться, что ЭТИХ лучше не трогать, что ИХ надо бы оставить в покое и бежать от НИХ без оглядки, но молодые люди ведь не чувствуют ничего, кроме того, что им кукуруза между ног шепчет.

Ну да, погрузились мы все в наш Понтиак, и поехали. А куда? В мотель не хотели, вульгарно! Хотели приключения, чтобы как в кино, на Марсе или на Венере.

Отъехали от городка по горной дороге миль на сорок, выехали на хайвэй номер один и полетели вдоль океана...

В машине слушали The Doors, передавали тогда по радио раз по двести в день – Moonlight Drive... пили пиво и несли какую-то чушь. Близняшки наши хохотали от любой глупой шутки и посматривали на нас довольно томно... соблазнительно потряхивали бюстами. Томас крутил баранку, а я с девчонками на заднем сидении гоношился...

Где-то припарковались и решили идти пешком к океану, чтобы «пронзить вечер, взобраться на гребень волны и доплыть до Луны».

Луна казалась синеватым диском с расплывчатыми краями... океан мы не видели, слышали только глухой рокот прибоя... как будто великан пересыпал совком камешки... мы пошли на этот звук и через несколько минут вышли не к крутым прибрежным скалам, как рассчитывали, а к группе деревянных коттеджей, свободной, привлекательной архитектуры... как бы небрежно раскиданных вдоль берега океана.

В некоторых домиках горел свет, в ближайшем к нам двухэтажном коттедже с террасой и башенкой – света не было видно. Мы подошли к нему поближе.

Пластиковые стулья на асфальтированной площадке перед входом в коттедж были собраны в затейливую пирамиду и скованны цепочкой на замке. Рядом с входной дверью валялись листья и сор. Окна закрыты ставнями.

Томас тихонько взломал ставни одного из окон на первом этаже, также неслышно разбил стекло ударом кулака, обернутого в майку, победно крикнул, распахнул окно и влез в дом, а потом открыл нам изнутри входную дверь. Демонстративно расшаркался и застыл, как мраморный, приняв позу хозяина дома, приглашающего в свой замок высокопоставленных гостей. Томас был на такие штуки мастер.

Девушки, казалось, и не заметили того, что мы вторглись на чужую территорию и совершили тем самым уголовно наказуемое деяние... они радостно хихикали и бросали на нас страстные взгляды.

Неожиданно я понял, что они до сих пор не сказали ни одного слова – только хихикали, ухмылялись, пританцовывали, жестикулировали плечами и головой и гримасничали...

Подумал – может они не только красотки, но еще и немые? Идеальные подруги!

...

Весь первый этаж коттеджа занимала огромная гостиная.

Мы пытались зажечь свет, но сколько ни щелкали выключателями, так ничего и не добились, электричество было отключено... идти искать в подвал рубильник мы побаивались, жутко... да еще... вдруг сигнализация включится?

Темнота не мешала, только стоящую тут же, в гостиной, радиолу с четырьмя громадными динамиками включить было невозможно... а так хотелось послушать музыку и потанцевать... но у Томаса был карманный приемник, который он вечно таскал с собой, так что Джим Моррисон уже пел нам своим хриплым экстатическим голосом Hello, I love, you...

Нашли старые медные подсвечники и свечи, зажгли их.

Мы с Томасом забрались с ногами в роскошные кресла...

Девушки не сели к нам на колени, хотя мы их активно приглашали – и голосом и жестами, а влезли, вовсе не стесняясь, на тяжелый шестиугольный дубовый стол, стоящий между креслами, на поверхности которого мерцали какие-то непонятные знаки, и начали медленно танцевать, подняв свои длинные руки, на которых позвякивали странные браслеты из синеватого металла.

Извиваться.

Кружиться.

Клубиться.

По стенам, увешанным препарированными океанскими рыбинами и чудовищно большими крабами, залетали как летучие мыши причудливые тени...

Девушки сбросили с себя свои полупрозрачные платица, розовые туфельки и нижнее белье... нагими они были похожи на отлитые из лунного света фигуры.

Длинные их волосы рассыпались у них по спинам...

Танец их напомнил мне пляску длинных язычков пламени свечи с двумя фитилями. Подруги обвивались вокруг друг друга... да так страстно, что у меня в голове прошелестело – этим мужчины нужны в лучшем случае в роли зрителей... мы с Томасом можем им только помешать... или это только предварительная игра?

Почему-то я испугался...

Похоже, Томас тоже почувствовал страх, но отреагировал на вызов иначе... вскочил, ловко сбросил с себя одежду и обувь... и прыгнул как молодой леопард на шестиугольный стол. Поднял свои худющие грабли, растопырил пальцы и затрясся в экстазе. Попытался превратиться как и наши подруги в колеблющиеся лунные водоросли, начал извиваться и качаться как живое пламя. И у него это получилось!

А затем... неодолимая сила заставила и меня сделать то же самое.

Через двадцать секунд я уже танцевал на столе... и чувствовал, как и мое тело постепенно растворяется непонятно в чем, в любовной энергии или в неровном свете... и исчезает, и я превращаюсь в пламя...

Необыкновенное, неведомое мне до тех пор наслаждение... испепелило то, что мы в своей непроходимой тупости называем «реальностью»...

Но тут пришла еще ни разу в жизни не испытанная боль, и меня кинуло куда-то... как будто кто-то взял меня двумя огромными пальцами за талию и швырнул... сквозь пространство и время, к черту на куличики.

...

Первое, что я осознал, после того, как очнулся, – волшебство не кончилось...

Я очутился в какой-то непонятной местности... в долине что ли. Я двигался.

В широкой, сумрачной долине между невысоких красноватых гор.

И долина, и горы – вертелись, вертелись как пропеллер.

Я не сразу сообразил, что долина и горы стояли себе на месте, а вертелся я – превратившийся в переднее колесо грузовика фирмы Mack, мчащегося по хайвэю.

И плохо мне от этого верчения не было, наоборот, даже приятно.

Да, я был колесом... я чувствовал тяжесть машины, передающуюся через ось на мои шины, я ощущал каждую выбоинку, каждый камешек на дороге, попадающий под меня.

Что же это? Флешбэк, который настиг меня после того, неудавшегося трипа с тарантулами? Говорят, флешбэк может прийти и годы спустя после приема этого дьявольского препарата и ничего не иметь общего с первоначальными галлюцинациями.

Тут что-то неожиданно ударило меня, возможно, грузовик наехал на камень побольше...

Долина, горы, дорога... перестали крутиться... а потом исчезли.

...

Я по-прежнему сидел в кресле, а напротив меня сидел Томас. У нас на коленях лежали прекрасные девушки-близняшки.

Моя прелестница шептала мне на ухо... или это была телепатия? Я не помню звук ее голоса...

– Ты и твой друг, вы не должны были прерывать наш танец. Танец-огонь-свет это наша связь с родиной. Это как антенна и передатчик... Вы прервали связь, и произошло что-то вроде короткого замыкания, вас кодировали и унесли в другую точку пространства... в другое время, в другое место... грузовик проезжал там случайно и ты материализовался в его колесе... а Томас – хи-хи – попал в ветровое стекло, а мог бы попасть в зуб водителя или в его кишки, или в выхлопную трубу... представляешь, что бы он испытал? Хорошо еще, что Комитет имеет возможность быстро восстанавливать континуум, вас, как видишь, закинули назад, радуйся и будь впредь осторожен, будь осторожен, сделай то, что нужно и ты свободен, свободен...

Вот тебе и флешбэк!

– Фак! Кто ты такая, черт тебя возьми? И какой такой Комитет кидает меня туда-сюда? Я вам что, мячик что ли? Фак!

Не стоило мне, не разобравшись, что к чему, хамить этому существу. Я опять почувствовал чьи-то огромные пальцы на своей талии...

На сей раз меня занесло куда-то далеко-далеко от нашего доброго земного мира.

Я не был больше человеком... телом... просто находился в какой-то небольшой области межзвездного пространства. Ничего не чувствовал, кроме пустоты вокруг, пустоты в себе, я ведь и был пустотой, непонятно как одушевленной. Как я мог видеть или чувствовать без глаз, без ушей, без тела – я не понимал, но видел и чувствовал.

Видел только звезды вокруг себя. Мерцающие капельки света. Далекое, недоступное...

Как пуста и бессмысленна эта вселенная! Какое глупое творение...

Значит, – пытался рассуждать я сам с собой, – эти альбиносские девы или то, что в них временно поселилось, обладают способностями переноситься в любую точку вселенной и заполнять собой тела, предметы или пустоты. И я сейчас закодирован, я тоже подобное существо... то есть и я могу, как они...

Я сконцентрировался на первой попавшейся маленькой лиловой звездочке и изо всех сил пожелал приблизиться к ней... и меня понесло, понесло, как несет осенний ветер опавший листок... и вот я уже недалеко от страшного пылающего и плюющегося облаками плазмы огненного гиганта... и вижу я этот кошмарный шар как бы не человеческими глазами, а огромным оком Абсолюта... вижу и видимый человеческому глазу свет и радио- и даже гамма-излучение...

Возвращение на этот раз не было безболезненным.

Меня протащило сквозь газовые туманности и сквозь звезды, и даже сквозь Сатурн, внутри которого я явственно видел...

Я опять сидел в том злосчастном кресле, обнимал свою блондинку и слушал все того же Моррисона. Он пел и пел. Твои глаза будут, как жемчуг, когда ты умрешь...

– Хорошо, убедила, я понял. Что ты хочешь от меня? Неужели я могу тебе что-нибудь дать? Ты ведь наверное уже меня просветила какой-нибудь дрянью и знаешь, что я за человек... поверхностный... эгоистичный... пустой.

– Ты здоровый. Я хочу, чтобы ты любил меня.

– Пойдем наверх.

– Не надо больше никаких «пойдем»...

И мы оказались на втором этаже коттеджа, в одной из спален, на незастеленной постели, покрытой чехлом из грубой ткани. Моя подруга прикоснулась к чехлу длинным указательным пальцем, и он превратился в шелк, в целое море разноцветных благоуханных шелков...

За мгновение до начала оргазма, когда вселенная и без ее сверхчеловеческих сил скакала как заяц и прыскала во все стороны концентрированной радостью, моя возлюбленная вдруг показала мне свое истинное обличие. Стала собой.

Таковы, видимо, были правила игры... зачинать этим существам приходилось без маски.

Описать ее я не в состоянии.

Ничего общего с человеком, пауком, пантерой или греем у нее не было. Ни в научно-фантастических фильмах, ни в ужастиках я не встречал ничего подобного. Лишь один художник (Флиггер) рисовал нечто, отдаленно напоминающее мою партнершу в ее настоящем виде, его картины я увидел много лет спустя, и сразу узнал ту, с кем занимался любовью тогда в коттедже, на берегу Тихого океана. Видимо, он тоже имел контакт с этими существами.

Я так испугался, что невольно отпрянул от моей «дамы», и сперма не попала по назначению. Это, по-видимому, взбесило ее, она спазматически дернулась, зарычала или заскрежегала, и меня опять выкинуло из нашей реальности.

На сей раз я попал в мир, который чрезвычайно трудно описать словами.

Потому что пространство в нем не было пространством, которое можно померить кубическими футами. Тем не менее, это было пространство, пространство, как бы ортогональное нашему, в котором существовало нечто, и это нечто обладало внутренним многообразием. А время там нельзя было представить как постоянно и равномерно возрастающее число секунд...

Скорее, это были линии, перпендикулярные вектору нашего обычного времени. Линии, расходящиеся в разные стороны.

Такие понятия как «предмет» или «живое существо» не имели там никакого смысла.

Мое «тело» в этом мире было похоже на то, чем в нашем мире являются радиоволны...

Мое «я», и в нашем, рациональном мире, не очень-то стабильное, в том мире сразу раскололось на несметное множество «волн», которые тут же побежали в разные стороны и образовали причудливые интерференционные картины...

Это и был настоящий «я».

Уже после того, как я покинул этот мир, я назвал его сам для себя «Мистерией жизни и смерти», потому что встретил там умерших.

Они сообщили мне, что...

...

На этом рукопись обрывается. Кто-то грубо оторвал оставшийся кусок листа и похитил продолжение. Романтическая история. Жалко, что она прерывается на самом интересном месте. Впрочем, есть истории, которые нельзя прочитать, их всегда нужно переживать и заканчивать самому. Своей собственной судьбой.

Да, кстати, может быть именно поэтому, я мой рассказ о НЛЮ так и не написал. Не смог вписать этот «эпизод», или как писал выше «контактер» – это «происшествие» в главный сюжет моей жизни. Оно так и осталось выколотой точкой.

Какое такое «происшествие»?

А вот какое... в начале двадцать первого века, примерно через полгода после моего переезда в Берлин из Саксонии, я видел в небе Берлина самый настоящий неопознанный летающий объект. Видел я его из окна городской электрички, с-бана.

Потрясающее зрелище!

Я и глаза протирал и щипал себя, ничего не помогло.

Летела себе эта штуковина по небу так естественно, нормально, органично, как птичка, голубок или ворона. Но на птицу она вовсе не была похожа, скорее она походила немного на летающий автомобиль – Делореан, машину времени из «Назад в будущее», и немного на космический корабль «Энтерпрайз» из «Звездного пути» с капитаном Пикаром. Но только немного, потому что этот НЛО был еще и полупрозрачным и светился и переливался синеватыми и лиловыми огоньками как подводный корабль инопланетян из кинофильма «Бездна».

И тем не менее, мой НЛО был настоящий, вовсе не киношный, и его явление «оставило неизгладимый след в моей памяти». Забыл сказать – размером НЛО был примерно с автобус. Летел он метрах в шестидесяти от меня, на высоте около сорока метров, довольно медленно, параллельно путям, навстречу поезду. Чувствовалось, что летит он не как ракета и не как аэродинамическая машина, а как-то иначе. Антигравитация?

Наблюдал я его секунд десять-пятнадцать. Ни на раскрашенный самолет, ни на рекламный дирижабль, ни на большую модель с мотором он похож не был. Мне показалось, что он снижается. Но там, куда он вроде бы собрался садиться, не было никакой «полосы», не было и улицы, только какие-то производственные здания, гаражи, трубы, тумбы, неприглядная урбанистическая мешанина.

...

Чаще всего я смотрю на окружающий меня мир через окно общественного транспорта, которым пользуюсь за неимением частного. Приятно смотреть в окно, заниматься вуайеризмом! Это как бесплатное кино... Кино жизни. Бог смотрит его все время нашими глазами... Впечатлений можно набраться... много чего понять... проверить свои теории... заправиться энергией мегаполиса, чтобы потом перегнать ее во что-то путное и полезное... в берлинское вино, пахнущее правда выхлопными газами, окурками, собачьим говном и годами не убираемым с улиц мусором.

Ну да, еще я гуляю, и подолгу глазею на мир, просто так, как прохожий. Но гуляю я чаще всего по тому району, где живу, а вот езжу я сравнительно часто и по тем местам, где еще не бывал...

Вот так тогда и было – я ехал на с-бане в тот район Берлина, где еще ни разу не был. Проехал неприятное место – Осткройц, почти не изменившийся с довоенных времен и сохранивший толику кайзеровской романтики старой доброй Германии, позже начисто уничтоженной ремонтом и новыми, циклопическими, вовсе там ненужными постройками, и вокзал Лихтенберг, с которого много раз уезжал в ненавистный город К..

Помню бесконечно долгое ожидание поезда на его длиннющих платформах. Мела снежная крупа, сырой берлинский ветер продувал насквозь... я всегда ждал поезда на перроне... в здании вокзала было тепло, но там нехорошо пахло... несметные полчища южных и восточных людей проезжали тогда через Лихтенберг... многие из них подолгу не мылись... другие и не знали, что надо мыться. Запомнились их смуглые грубоватые лица... черные масляные глаза... они все казались мне ворюгами и бандюганам... даже женщины и дети.

А после Лихтенберга я ехал по Марцану, среди блочных домов гэдээровской постройки. Места эти были мне тогда незнакомы, а архитектура – ох как хорошо знакома. От Ясенево и Теплового Стана эту часть Берлина отличало только сравнительно хорошее состояние швов между бетонными блоками, ну и еще отсутствие развешенного на балконах белья и аккуратность их застекления... и дороги, хоть и были хуже настоящих, западногерманских, но все-таки лучше, чем московские.

Люди Марцана... были похожи на москвичей. Точнее – на карагандинцев или челябинцев. И говорили так же.

– Маня, батюшки, как я рада-то! Ведь он мне позвонил вчера... да. И мы так болтали, так болтали... да, обо всем болтали-то мы. Слушай, Мань, ко мне золовка приезжает на Пасху-то. С Уфы. С племяшиком, с Ильюшинькой. Как же он растолстел, Ильюшка-то, просто урод!

Ехал я тогда в один торговый центр, должен был там забрать новую цифровую фотокамеру, которую за день до этого заказал в Интернете. Не помню, какую, много их у меня было. И в зоомагазин зайти надо было.

Камеру, кстати, я забрать так и не смог, перепутали что-то продавцы. Уехал тогда ни с чем... Все об этом удивительном «происшествии» думал, о том, изменится ли теперь как-то моя жизнь... или все как обычно засосет трясина обыденности... и в зоомагазин не зашел.

Да-да... и вот, перед станцией Спрингфуль, вдруг слева по ходу поезда и показался этот самый НЛО с лиловыми огоньками.

Я увидел его и рот открыл от удивления. А едущие со мной в вагоне люди – или не заметили эту летящую каракатицу, или заметили, но ей вовсе не заинтересовались.

Я-то себя щипал и глаза протирал, а другие – себя не щипали, и глаза свои мутные и равнодушные не протирали... кто читал, кто в смартфон уставился, а другие просто тупо смотрели перед собой, ничего не видя и не слыша.

Несколько молодых людей похожих на спортсменов, с туповатыми и агрессивными лицами, кажется тоже заметили, но вместо того, чтобы вскочить, замахать руками и что-то громко заорать, они только грязно ослабились...

Так что из всего вагона увидели и восприняли НЛО только я, да маленький песик у соседки. Я заметил, он тоже смотрел в небо и удивлялся, даже заскулил от удивления, за что на него зарычала его хозяйка, дебелая носатая тетка неопределенного возраста... он был, кажется, единственной живой душой в вагоне...

Дома я рассказал про НЛО моей немецкой жене. Описал его во всех подробностях, не забыл упомянуть и реакцию на НЛО моих попутчиков, даже про собачку рассказал.

Она меня выслушала, а потом спросила: «Ты корм для птиц не забыл купить?»

Пантера в кресле

Несколько лет назад я начал замечать, что со мной происходит что-то странное, необъяснимое. Нет, я еще не впал в маразм... хотя, кто знает.

Помню, один умный врач в популярной передаче о старческом слабоумии поучал публику так: «У каждого человека рано или поздно портятся мозги, изменяется поведение. Люди начинают дурить... Из-за курения, алкоголя, неправильного питания, загрязнения окружающей среды, стресса... и просто от старости. Но проявляется это – поначалу – у всех по-разному. Природа бьет каждого человека в его слабое место... дурак становится еще глупее, злой может стать убийцей, умный становится раздражительным, педантичным, придирчивым, ипохондрик – делается еще беспокойнее, подозрительнее... а фантазер – так глубоко погружается в свои фантазии, что зачастую не может найти дорогу назад, в реальность».

Что-то подобное начало происходить и со мной, я сделался – неожиданно для самого себя – страшно суеверным, начал загадывать... видеть вещи, которые другие не видят, мои отношения к неодушевленным предметам стали... явно ненормальными.

...

Например...

У нас в кухне рядом с кухонным столом стоят два стула. Один у окна – на нем обычно сижу я. Другой – у тумбочки с хлебницей. На нем сидит моя жена. За завтраком или обедом. Ужинаем мы обычно в гостиной, смотрим телевизор... В кухне у нас – два кухонных полотенца. Одно простое, матерчатое, для посуды, другое толстое, махровое, для рук. Полотенца эти – мы вешаем на пластиковые спинки стульев, чтобы они там сохли. Так вот... жена моя вешает полотенца произвольно, без системы. А я – вешаю простое полотенце на свой стул, а махровое – на стул жены. Для меня это очень важно! Часто захожу в кухню, чтобы проверить, правильно ли висят полотенца. Если не правильно – перевешиваю. Потому что, если полотенца висят «правильно», то «все будет еще долго-долго хорошо», а если «неправильно», то «очень плохо». Я заболею и умру. Или в наш дом ударит комета. Или начнется атомная война. И это безумие – с полотенцами – продолжается уже года три. Сколько раз я пытался уговорить самого себя перестать перевешивать полотенца – все без толку, это сильнее меня.

Еще один пример... когда я вынимаю из большой коробки пачку пипеток-баллончиков с искусственными слезами – то стараюсь брать ее из середины коробки, не отдавая никаким пачкам предпочтения, чтобы оставшиеся в коробке – не обиделись и не повлияли как-то негативно на мою жизнь. То же самое я проделываю и с карандашами и шариковыми ручками, вынимая карандаш или шариковую ручку из большой кучи карандашей и ручек, лежащей на книжной полке. И пипетки и карандаши и шариковые ручки нередко превращаются – прямо у меня в руках – в живые куколочки с забавными головками и кланяются мне как старому знакомому.

А чайные ложки... да... лучше и не упоминать, во что они превращаются...

Я беру чайную ложечку из ящика – наугад... какая попадется, такую и беру. И тут же кладу ее назад и беру другую. Потому что – первую попавшуюся брать нельзя. Она испортит чай или кофе. Или укусит меня за палец. Ох уж эти первые...

Непростые отношения сложились у меня и с зимними куртками и ботинками. Я почему-то уверен, что большая зеленая куртка – у нее большая, круглая, похожая на подсолнух голова и длинные плоские ноги – меня не любит, и надеваю ее редко, только в сильный дождь... потому что не хочу причинять кислой дождевой водой вред моей любимой, синей куртке с капюшоном, улыбающейся мне так, как улыбается нам иногда проходящая мимо нас незнакомка, она заботится обо мне даже в летнее время, когда безнадежно одиноко висит в шкафу в моей второй квартире, в которую я заглядываю не часто... потому что ее почти пустое пространство способно превратить меня в яблоко. Об этом мне рассказала шарообразная люстра из мато-

вого шведского стекла, висящая во второй квартире, мой старинный шпион и соглядатай. А я люстрам верю, хотя и не всем.

С ботинками – та же история. Некоторые мне жмут, другие, наоборот, разношены и могут соскользнуть с ноги – но это не важно. А важно то, что старые коричневые полуботинки, вечные ворчуны и сторонники теории заговора, десять лет назад добились – предполагаю, что доносами и наговорами, недаром они по ночам бьют чечётку – того, что берлинский Сенат так и не дал мне писательскую стипендию. Каждый раз, когда я вынимаю их из обувного шкафа, они смеются над мной. Недобро, презрительно. И заводят разговор о стипендии...

А мои черные ботинки с прямоугольными носами – честные работяги, доброжелательные и дружелюбные. Хотя и слегка туповатые. Как и их носы. По ночам они спят и похрапывают. И видят во сне прекрасную Лигурию. Я знаю, они терпеть не могут собак, и не позволяю собакам их обнюхивать. Если собака доберется до моих черных ботинок с прямоугольными носами, то сразу же испортит их характер. Один черт знает, чем это кончится. Черт этот заперт внутри моей второй шарообразной люстры, которая висит недалеко от первой. Поэтому в ней так часто перегорает лампочка. Когда я ношу ботинки с прямоугольными носами, очень удобные и теплые ботинки, – мне приходится внимательно смотреть по сторонам, чтобы вовремя перейти на другую сторону улицы, если завизжу собаку, ковыляющую мне навстречу.

...

Перечисление всех подобных... странностей... заняло бы по крайней мере сорок страниц текста... Не хочу утомлять читателя. Расскажу только одну поучительную историю.

Пару лет назад дочь кухни моей жены от первого брака подарила нам плюшевую игрушку... северного оленя. Азиатский дизайнер этого монструозного творения, видимо, не знал, как выглядят настоящие северные олени, и не удосужился посмотреть в интернете. Поэтому Боб, как я окрестил оленя, получился похожим скорее на смесь совы и футляра для смартфона, чем на четвероногое животное, впряженное в сани Санта Клауса, развозящего подарки для детворы. Тело у Боба маленькое, зато голова – непропорционально большая и уродливая. Украшают ее плюшевые рога, похожие на кружевное печенье и огромные совиные оранжевые глаза. Очень выразительные и почти живые.

Не знаю, почему, но я сразу почувствовал, что плюшевый Боб, несмотря на его уродливость и незначительность – наш друг и спаситель, и сыграет в будущем какую-то важную роль в моей жизни и в жизни моей жены, по национальности пуэрториканки. Недаром пуэрториканцы очень уважают северных оленей.

Примерно в то же время в нашем районе участились семейные драмы и взломы квартир.

В богатых районах Берлина – в Митте, Далеме и Ванзее дома и квартиры грабят постоянно и часто. Потому что там есть, чем поживиться. У многих богачей дома – сейфы, набитые наличными, которые грабители научились выдирать из бетонных стен, фамильные драгоценности, дорогие шмотки, которые легко загнать, электроника, персидские ковры, антиквариат... Там «работают» хорошо организованные банды из Румынии, Болгарии, Чехии и других стран. А семейные драмы часто происходят из-за трудностей в разделе имущества.

К нам, в бедный, еще в гэдээровские времена построенный Марцан профессионалы заглядывали раньше редко – потому что взять у тутошнего населения нечего. И драм никаких не бывает. К тому же можно нарваться на яростное сопротивление. Но со временем ситуация изменилась. К худшему. В Берлин приехали десятки тысяч агрессивных бедняков из Оrientsа и Оксидентa, а также из стран, которых не знают даже собиратели марок... да и многие туземцы опустили в последние десятилетия по социальной лестнице... и не прочь поживиться чужим добром.

Так что грабители, как и высокие цены на жилье, добрались и до Марцана.

...

Домушники ломали входные двери или спускались по веревочной лестнице с крыш на балконы... запугивали и связывали жильцов, в их рты вставляли кляпы, а потом, не торопясь, собирали все, что представляло хоть какую-то ценность, набивали свои огромные сумки, тачки и чемоданы и уходили. Иногда – выбивали зубы упрямам, которые не хотели рассказывать, где хранят деньги, а иногда и зверствовали... просто так, для удовлетворения своих низменных инстинктов.

Жители Марцана укрепляли двери и окна, увлеченно занимались самопознанием, жаловались в ООН, европейскую комиссию по правам человека, в полицию и берлинский земельный парламент, пытались организовать что-то вроде добровольной народной дружины, но все это не помогло. Полиции и политикам было все равно, они были заняты рыбной ловлей, а в дружинники никто не хотел идти. Даже праворадикальные бульдоги из питомника.

Я тоже боялся, что к нам вломятся. Ни денег, ни драгоценностей у нас не было, а то, что было – семейное барахло и старенький компьютер – грабителей явно бы не заинтересовало... но я боялся физического насилия... защитить себя мы с женой не могли, оба были дряхлые и старые, оружия у нас нет.

Поэтому все надежды я возложил на Боба. На маленькую уродливую плюшевую игрушку. Каждый вечер, перед тем, как идти спать, я гладил Боба, пристально смотрел в его совиные глаза, три раза целовал в нос, один раз в брюшко и еще раз – в правую верхнюю лапу... и при этом произносил следующую мантру: «Боб, мы тебя так любим, спаси нас от несчастья, защиты, помоги! Кроме тебя, никто нам не поможет!»

Я понимал, до какой степени это глупо. Но, какие бы глупости мы ни делали, в какое бы безумие ни впадали – повторение, периодичность, гармоничность колебаний сумасшествия... превращает абсурдный ритуал в некое подобие религии... Разговоры с Бобом – как церковная служба истово верующему – дарили мне утешение и уменьшали страх быть ограбленным и замученным мерзавцами.

...

Судьба щадила нас довольно долго.

Но... однажды ночью воры сломали нашу балконную дверь и вошли в квартиру.

Мы с женой уже спали. Жена слышит неважно и спит крепко, особенно, когда ей снятся ульи с пчелами, я сплю очень чутко и слышу хорошо. А пчел – кстаги – терпеть не могу.

Меня разбудили несколько неприятных щелчков и характерный, как бы зубовой, скрежет из гостиной.

Встал, накинул халат, вышел на цыпочках в коридор, нашел там ощупью тяжелую деревянную дубину, похожую на бейсбольную биту, с отпиленным концом, в гэдээровские времена использовавшуюся для утрамбовывания капусты в процессе квашения... подождал немного, прислушался, убедился, что кто-то ходит в гостиной... собирает вещички... постарался набраться мужества и разозлиться... но так и не разозлился... глубоко вздохнул и вошел в гостиную, занеся над головой свое оружие. Готов был проломить ворами их гнусные черепа.

Но в гостиной никого не было. Так мне, по крайней мере, показалось... только два пластиковых слоника, пыхтя, бодали друг друга широкими лбами на комод.

Включил верхний свет... в гостиной все-таки был вор... один... мальчик лет шестнадцати. По виду – цыган. Кудрявый. Плохо одетый. Худой, грязный и жалкий.

Он лежал на полу, скрючившись и закрыв руками глаза, бормотал что-то на своем наречии и трясся. Рядом с ним валялась сумка для добычи. Из нее выглядывали зеленая богемская стеклянная вазочка и фигурка обнаженной негритянки из эбенового дерева. Негритянка вежливо поздоровалась и кокетливо потрясла тяжелым эбеновым бюстом.

Фигурку эту я купил с полгода назад за двадцать евро на блошином рынке. А ваза стояла и того меньше. Кто-то когда-то подарил ее жене. Цветы в нее мы не ставили, потому что она нас об этом попросила как-то после фуршета.

Недалеко от лежащего на паркете вора, на спинке кожаного итальянского кресла, купленного в Ирландии после прекращения террористической войны – восседал Боб и буравил вора своими жуткими оранжевыми глазами.

Я сфотографировал эту одиозную сцену мобильником и позвонил в полицию.

Через неделю мне позвонили из полиции и попросили прийти, чтобы подписать какие-то бумаги. Ужасно не хотелось туда тащиться... Но с немецкой полицией шутки плохи, к тому же меня терзало любопытство. Хотелось узнать, что же, черт возьми, случилось в нашей гостиной.

После выполнения всех формальностей, принятия торжественных обещаний и линейки я спросил об этом у неприветливого деревянного усача-полицейского, говорившего со мной таким тоном, как будто это я был вором-домушником, ограбившим чью-то квартиру.

Усач ядовито усмехнулся, покряхтел, как старый шкаф, и сказал сиплым голосом сифилитика: «Вам повезло. Паренек имел с собой не только ломик для взлома, но и нож с лезвием в двадцать пять сантиметров длиной. На улице его наверняка ждали дружки. Постарше и посильнее его. В соседнем доме три недели назад ограбили двух пенсионеров... а перед тем, как уйти, вспороли им животы и отрезали гениталии... Сейчас идет проверка, не ваш ли кудрявый паренек с сумочкой это сделал... Личность его установить пока не удалось. Скорее всего, он член кочующей по Европе банды румынских или молдавских цыган... Представляете, кто-то выжиг ему кислотой подушечки пальцев, чтобы отпечатки не оставлял. Вы спрашиваете, что его остановило? Не знаю. Чего-то он испугался. До смерти. На допросе отнекивался и плел чепуху...»

Полицейский вздохнул, высморкался, брезгливо порылся в бумагах, открыл какую-то папку, достал из нее исписанный от руки листок и продолжил: «Цитирую перевод... Неожиданно я увидел перед собой крупного хищного зверя, ягуара... нет, пантеру, сидящую в кресле. Я хорошо разглядел ее ощеренную пасть с красными клыками и когти на лапах... Она смотрела на меня ужасными оранжевыми глазами, рычала и готова была броситься на меня и растерзать».

...

На обратном пути я зашел в магазин игрушек и купил Бобу подружку – плюшевую зайчиху китайского производства. С совиными глазами.

Когда кассирша протянула мне сдачу – мелочь и десятиевровую купюру – сердце мое ушло в пятки, потому что я увидел на ней женщину с страшным собачьим лицом, выглядывающую из романского церковного портала. Попросил кассиршу дать мне другую купюру. Кассирша недоуменно посмотрела на меня, а потом неохотно выдала мне две пятиевровые бумажки.

Господин Макс

Моя подруга Рамона потеряла невинность в четырнадцать лет. В маленьком уютном живописном городке в Рудных горах, с речкой, замком и видами. В Ропау. Куда мы с ней позже регулярно ездили на электричке на дачу. Рамона занималась там разведением цветов, копала, сажала, окучивала, подрезала... а я сидел в полосатом шезлонге, оставшемся от предыдущих владельцев дачи, заядлых игроков в скат, которые землю не рыли, цветы не сажали, а только дули пиво, курили и в карты резались, читал или загорал...

Перед отъездом домой мы заходили в кафе «У диких бобров» и ели там розовые, запеченные в собственном соку форели, посыпанные укропом и петрушкой, пойманные у нас на глазах длинным сачком в крохотном, метров тридцать квадратных, отделенном от реки тонкой перегородкой прудике, заросшем белыми кувшинками, в бутонах которых сидели иногда, свернувшись колечком, небольшие черные змейки с золотистыми крестиками на головках.

Жила Рамона в Ропау с мамой, папой и бабушкой в средневековом доме, в котором сто лет назад находилась рыбная копильня. Комнатка ее все еще пахла рыбой, и в ней вместо окна была застекленная сверху дверца, выходящая прямо на речку. Через эту дверцу рыбаки загружали рыбу в копильню. До воды было метра три, но во время наводнений комнату подтапливало. Поэтому кровать Рамоны висела на деревянных столбах, и спала она почти под потолком. Над ее кроватью был лаз на чердак, оттуда можно было вылезти на крышу. Поднималась Рамона в свою кровать по веревочной лестнице.

Летом в ее комнатке было нестерпимо жарко, а зимой холодно, даже сосульки висели... греться Рамона уходила в теплую кухню, сидела там вечерами в плетеном кресле и просматривала старые выпуски сатирического журнала «ULK», выпускавшегося в Берлине со времен Бисмарка и до 1933-го года, главным редактором которого одно время был сам Курт Тухольский. Нашла Рамона с дюжину перевязанных пачек на чердаке и скрыла от матери... чтобы та не сожгла их в печке. Уголь был дорог и топили, чем могли.

Других книг в их жилище не было.

Особенно ей нравились карикатуры на последнего русского царя времен Первой Мировой. Трясущийся от страха маленький Николашка сидит, забившись в угол, в купе царского поезда... Глупый царь с уродцем-царевичем на коленях читает статью «Вести с фронта». Невдалеке стоят два его генерала и один говорит другому: «Неужели он верит?»

Похожий на курицу в короне, с петлей в руке, царь показывает когтистым пальцем на здание с колоннами, на котором написано «Дума» и кричит: «Вешать! Вешать их всех!»

...

Семья Рамоны жила, как и почти все гэдээровские рабочие семьи того времени, очень бедно. Страна еще не преодолела послевоенную разруху, да и советчики ободрали свою зону оккупации как липку. Вывезли не только специалистов, станки, цветные металлы, автомобили, пароходы, локомотивы, самолеты, фильмы, колготки и иголки, но даже гвозди драли из стен и лампочки вывинчивали... и везли в СССР. К тому же ГДР платила стране-победителю репарации. Наличными и товарами ширпотреба.

Мать Рамоны работала на местном мясокомбинате, куда ее устроил ее дядя, тамошний заместитель директора, поэтому два раза в неделю семья ела тушеное мясо. С квашеной капустой. Да еще и подрабатывала вечерами кельнершей в таверне «Старая пивоварня». И дочь заставляла там убирать и прислуживать. Гости этого заведения, в основном зажиточные ремесленники, звонко шлепали и мать и дочь по крутым задам. Мужчины тогда, в самом начале шестидесятых, еще были редкостью, и они это знали и с удовольствием этим пользовались. Чаевые были небольшие, но мать приносила домой остававшуюся от гостей провизию. Только поэтому семья Рамоны не голодала.

Отец ее работал забойщиком на урановой шахте предприятия «Висмут», зарабатывал по тем временам хорошо, но зарплату домой не приносил, а пропивал. Или прямо там, на Висмуте, где, несмотря на социализм и советскую администрацию, царила атмосфера Клондайка, прямо на территории шахты были организованы питейные дома с дешевым шнапсом и неофициальные публичные дома с недорогими девушками, или в городке, в той же самой «Старой пивоварне», в которой был завсегдаем и слыл главным острословом.

Отец Рамоны, которого я близко узнал в девяностых, когда он уже был больным стариком, хоть и молодился, не был плохим человеком, эгоистом, грубияном... только типичным работягой. Да еще и с обидой на жизнь. Которую он нередко вымещал на семье. Бил жену... и дочери перепадало.

Обида эта произошла вот от чего. Недалеко от дома Рамоны жили многочисленные ее кузены и кузины и другая родня по отцовской линии. Все они, включая четырех дядей, тетю, бабушку Рамоны и кучу отпрысков, перебрались на Запад через Берлин за неделю до постройки Стены. Отец Рамоны вместе с женой и дочерью должен был уехать через десять дней после них, но... оказался в мышеловке и очень из-за этого переживал. Тем более, что все его братья сделали, пусть и не сразу, карьеру в автоиндустрии и стали в Западной Германии хорошо обеспеченными, уважаемыми бюргерами. А он... так и остался шахтером на Висмуте и завсегдаем «Старой пивоварни», где, не скрывая своих эмоций, честил ГДР как только мог. Забойщик на Висмуте, добывающий уран для советского ядерного оружия – средняя продолжительность жизни горнорабочего на урановой шахте была лет сорок, но отец Рамоны оказался крепким орешком и дожил до восьмидесяти пяти – мог себе это позволить.

Мать Рамоны очень любила рождественские украшения... деревянные фигурки... щелкунчиков, курящих человечков... народное искусство жителей Рудных гор... ее я тоже близко узнал в девяностые... бог с ней... не мне ее судить.

После окончания восьмого класса школы родители Рамоны не отправили ее в класс девятый, как она хотела, а определили подмастерьем в единственное частное предприятие Ропану – на прядильную фабрику.

Приведу тут рассказ Рамоны, который я слышал раз двадцать... обычно до или после интима.

Надо отметить, каждый раз она рассказывала свою «обыкновенную историю» по-разному. Суть-то, конечно, оставалась одной и той же, но подробности от раза к разу менялись. Наверное, мутировали.

...

Рассказ Рамоны.

Я была девочкой своевольной и упрямой. Стала такой в «Старой пивоварне». Жизнь меня научила добиваться своего. В прядильне я работать не хотела, хотела учиться дальше в школе. Скучала по одноклассникам. К тому же была тогда влюблена в учителя географии, господина Кнопса. У него были большие печальные глаза. Говорил он не громко, но убедительно. Особенно, когда рассказывал про апартеид в Южной Африке. Болтали, что он воевал в составе ваффен-СС, но я не верила. Оказалось после, что правда, он сам мне рассказал. Да... а теперь мы все узнали, что и наш писатель великий, лауреат Нобелевской премии, тоже в составе ваффен-СС воевал. Защищал Берлин от ваших. А в плен попал по-умному – к американцам.

Умоляла мать не забирать меня из школы, дерзила ей, а мать меня увещевала-угавривала, мол, деньги надо зарабатывать, родителям помогать, а не по школам понапрасну мотаться, даже несколько раз ударила по щеке. Обещала освободить от «Старой пивоварни». И отец... наорал на меня, чуть не побил, а потом заплакал. И полночи с матерью ругался. Я подслушивала за дверью. Он кричал: Ты сама проститутка и дочку такой же хочешь сделать! Ты что, не знаешь, кто там работает? Одни б...

Я против воли согласилась, а про себя решила, что как только заработаю достаточно денег, уйду из дома, вон из этого города... в Лейпциг или в Берлин. Так я и сделала... только позже... а год примерно пришлось на фабрике отпахать. Поэтому я знала потом, на профсоюзной работе, что рабочий человек на самом деле живет вроде как собака или осел, в пожизненном рабстве. Сочувствовала и, как могла, помогала.

...

Никогда не забуду свой первый день. Посадить меня сходу за ткацкий станок начальство не могло, сложное это дело и опасное. Поэтому меня для начала отправили в отбеливательный цех, на грубую, грязную работу. Там были горячие ванны с щелочной водой. Тяжелые рулоны ткани надо было подтаскивать, из одной ванны в другую перекладывать, мыть, что-то еще делать, не помню уже. Это сейчас все автоматизировано, а на той фабрике было оборудование тысяча девятьсот десятого года. Все вручную...

Ну вот, привел меня директор в цех... а там жара – под сорок... пар... хлоркой воняет невыносимо... шум, гам. Но самое странное – все работницы, бабы под пятьдесят... до пояса голые. Красные, распаренные... сиськи огромные мотаются. Потные, пузатые, жирные. Таскают рулоны... в ваннах деревянными лопатами воду мешают... и директора, крючка такого очкастого, лысого... вовсе не стесняются. Обсуждают что-то с ним.

Да, кстати, после я его ближе узнала, он оказался неплохим человеком, помог мне из проклятой прядильни выбраться. Хоть и не безвозмездно, да... а кто в этой жизни что-то безвозмездно делает? Я таких не знаю.

Ну да, это что же, значит и мне надо... голой до пояса... при директоре... и рабочие в цех заходят... взрослые мужики, одетые, и молодые ребята-механики всего на два-три года меня старше. А мне четырнадцать лет всего... но у меня уже груди выросли... как большие персики, и я их ужасно стеснялась. Потому что у всех моих подружек грудки были маленькие, как блюдечки. Или вообще еще не было груди. Питались мы тогда как нищоброды. Ни жира, ни витаминов.

Ну вот, сняла я в раздевалке свою одежду, надела фабричную полотняную юбку до колен, а под ней ничего, только трусики. Платок меня заставили повязать, чтобы волосы в станок не попали. И сапоги громадные дали, чтобы хлор ноги не разъел.

Стою в раздевалке, дрожу, стесняюсь в цех выйти.

Директор ко мне подошел, поглядел на меня, а я чуть не в рев...

Он понял, глаза отвел, что-то доброе сказал и легонько так меня по спине погладил. Меня как током... Потом за руку взял, ввел в цех, показал, что и как делать, познакомил с работницами. Ничего, бабы они были не плохие. Все, как одна – вдовы военные. Я для них вроде сосунка была... Они меня и не замечали.

Только одна, румынка из бывших заключенных – помоложе остальных – кудрявая такая... когда никого рядом не было, все норовила мне груди помять, да в шею целовала вза-сос. Обнимала, шептала мне что-то страстно по-своему... глазами сверкала.

Я ее не понимала, но не отталкивала, играла с ней, дурачилась. Несколько раз и ее за маленькие смуглые груди пощупала. Но это меня не возбудило. Мне для любви всегда нужен был мужчина.

Да, трудно было поначалу. С ног валилась от усталости. Кашляла страшно. Но втянулась. Зарабатывала сто двадцать марок в месяц. Гэдээровских. Половину мать отбирала.

А потом случилось то самое.

...

Инженером-механиком по ткацким станкам работал у нас один дедушка. Сейчас-то он мне дедушкой не показался бы, было ему только слегка за шестьдесят. Но тогда...

Господин Макс.

Однажды он зашел в наш цех. Увидел меня и видимо загорелся. После смены подошел ко мне... в красивом костюме, галстук... старой культуры был человек, довоенной... в нагрудном кармане платочек батистовый треугольником... на мизинце кольцо с бриллиантом... надутый весь... ногти в маникюре и говорит вежливо. На вы.

– Позвольте мне, фролайн Рамона проводить вас до дома. Имя у вас какое... музыкальное. Будит воспоминания.

Взял меня под руку и повел, только не к нашему дому, а в парк, туда где камни разные доисторические выставлены. Ну эти... окаменелости. А затем к себе домой пригласил. Я пошла, не роптала. Что я в жизни видела? Дома родители грызутся, на работе – ад, а тут человек порядочный... чистый. Побывал в Париже.

У себя господин Макс на меня не набросился, как любой другой на его месте бы сделал, а угостил меня кофе со сливками и шоколадом, рассказал про Шанз-Элизе и площадь Пигаль, а потом отвез меня домой на своем стареньком мотоцикле с коляской. Я очень этим гордилась... Форсила перед подружками.

На следующий день – все повторилось... только я еще вдобавок цветы от него в подарок получила. Гвоздики. И погуляли немного... по кладбищу... там, где могилы цыганских детей. Помнишь, я тебе рассказывала, как эсэсовцы у нас, в Ропау, взрослых цыган в концентрационный лагерь отправили, а детей, за сотню их было, расстреляли на берегу реки, под мостом. Некоторые, впрочем, говорят, что они сами... от тифа умерли.

Господин Макс мне о своих приключениях в плену у французов рассказывал... как они в лагере в футбол играли... заключенные-немцы против охранников-французов и выиграли. А французы обиделись и немцев жестоко избили. И совестливый Макс, который уже было решил, что мы, немцы, самый жестокий на свете народ, тогда понял, что французы ничуть не лучше, только организованы не так хорошо... и Гитлера у них своего не было.

На третий день – опять гуляли... рядом с фабрикой мотоциклов, где господин Макс до войны работал... и опять кофе у него пили.

На четвертый день он меня первый раз поцеловал.

А на пятый день... в воскресенье... сидели мы у него дома, в кабинете. Господин Макс мне коллекцию марок показывал. Объяснял что-то про зубцы и гашение. Потом начал целовать... пошли в спальню, сели на его большую кровать.

Я разделась, зачем тянуть да жеманничать? Это ваши женщины жеманные. А мы, немки, относимся к телесной любви разумно.

Легла, расставила ноги... ждала, что он ляжет на меня...

А господин Макс... вдруг закурил сигару и сказал мне, что... по-настоящему меня любить не может... из-за ранения... А не по-настоящему не хочет. Но знает, как решить проблему.

Я промолчала, съежилась.

А он вдруг сказал громко: «Входите же, господа, девушка готова».

В спальню вошли несколько мужчин.

Все с лысынами и брюшками. Голые, пьяные, возбужденные. Двоих или троих я встречала в «Старой пивоварне». Один, собутыльник моего отца, был даже старше Макса. С усищами как у кайзера Вильгельма.

Смутило меня только то, что среди них был и наш учитель географии.

...

Господа эти со мной не церемонились... времени даром не теряли... тут же начали меня за груди и между ногами трогать, попотчевали меня французской любовью, а потом тот самый, с усищами, лег на меня... придавил как сапог лягушку.

От него пахло потом, табаком и пивом.

А после него и все остальные... по очереди... меня трясли. Да как... Последним был господин Клопс. Как же он громко стонал... хрипел... просил меня смотреть ему в глаза и называть папой...

Потом пошли по второму кругу.

Часа три длилось представление. Ты только не подумай, что они меня насильовали.

Мне было очень приятно. Только за господина Макса было обидно, что он своей радости не получил.

А он, господин Макс все это время сидел на стуле рядом с кроватью, жадно смотрел на нас, курил сигары, пил красное вино и по голове меня гладил.

Так я потеряла невинность.

Сороконожка (рассказ пенсионера)

Спорил тут недавно с одним новоприбывшим в русском магазине, доказывал с неуместным жаром очевидное. Орал даже: «Ваше паршивое государство ничего не производит, кроме коррупции, подлости и мертвечины».

А мой собеседник мне ответил тихо, но убедительно: «Ну зачем же так обобщать? Я вот недавно купил прекрасный бинокль. Отечественный. Между прочим, дешевле ваших, немецких! И лучше! Не скудеет наша земля на мастеров!»

Это был удар ниже пояса, потому что я с детства обожаю бинокли и вообще всяческую оптику. С того самого времени, когда моя бабушка Алиса, чтобы не отправлять чувствительного мальчика в советский детский сад, брала меня с собой на работу в обсерваторию института им. Штернберга, и мне было там разрешено возиться с бракованными линзами, оправами, зеркалами, призмами и прочим оптическим хламом.

Лишних людей тянет как известно на покупку ненужных вещей.

Поэтому я тоже купил русский бинокль. Мэйд ин Красногорск. 20х60. Это значит, увеличение – двадцать раз, а диаметр объективов – шесть сантиметров. Могучая машина. Нашел в интернетном каталоге это замечательное российское изделие, заказал и получил после трехнедельного ожидания (наверное, на гоголевской тройке везли). Сорок евро всего! Даром взял.

Посылку сразу открывать не стал. Освобождение покупки от упаковки – сакральное действие, сравнимое с раздеванием невесты в первую брачную ночь. Поэтому я вынул бинокль из футляра только поздним вечером... торжественно... не спеша... хотя ужасно хотелось посмотреть на Луну в полнолуние... полюбоваться на кратеры, поковырять и пометчать. Смотреть в бинокль сразу не стал... гладил его шершавую кожу, глядел в отсвечивающие оранжевым линзы, как любимой в глаза.

Вечер был чудный...

Аромат сирени перебивал вонь от выхлопных газов.

Но темнота слабенькой июньской ночи так и не смогла смыть отвратительные силуэты одиннадцатиэтажных домов гэдээровской постройки...

Лимонно-желтая Луна поднялась на юго-востоке, как раз за местной свалкой, и залила Марцан таким волшебным светом, что ужасная его архитектура начала напоминать что-то древнеегипетское или месопотамское. Зиккураты, пирамиды, ворота Иштар, висячие сады Семирамиды...

Душа моя затрепетала.

Я устроился поудобнее в кресле, взял наконец в руки тяжелый, ностальгически пахнущий рабочим классом бинокль и жадно навел его на Луну. Хотел побродить по «пыльным тропинкам». Погоняться за лунатиками и лунатками. Поискать американский флаг, оставленный «Аполлоном».

Как ни крутил настройку резкости, как ни пытался скомпенсировать разницу моих глаз правым окуляром... в бинокль я видел две квадратные Луны, окруженные розовой помадой.

Оптические оси не параллельны! Аберрация зверская! Кошмар!

К тому же обе Луны были маленькие, явно меньше тех, которые я когда-то наблюдал в восьмикратный цейсовский бинокль, сгинувший много лет назад, как и все остальное мое барахло в оставленной на попечение друзей московской квартире.

Кратеров видно не было...

Луна в русский бинокль напоминала изъеденную червями задницу.

Ярости моей не было предела. Больше всего я хотел разбить этот бинокль молотком. Но опасался пораниться о стеклянные осколки. Поэтому смиренно запаковал изделие красногорских мастеров в родную упаковку и на следующий день отправил его на указанный в сопрово-

дительной бумажке обратный адрес... берлинский, как ни странно. А через два месяца даже получил мои сорок евро. После нудной и унижительной переписки с изготовителем и продавцом.

Гнусное впечатление от бракованного продукта с бывшей родины я решил немедленно нейтрализовать покупкой западного бинокля. Заказал и через два дня получил бинокль «Никон». Об этом инструменте я написал бы поэму, если бы был поэтом. До того он хорош. Изображение четкое, светлое... Потрясающая ясность... и Луну я в него рассматривал неоднократно, и Юпитер, и Млечный путь, и летающие тарелки, парящие в голубом океане над Берлином, видел, и лица прохожих наблюдал как под микроскопом, и даже картины в Берлинской Картинной галерее, когда я смотрел на них через Никон, выглядели лучше, чем оригиналы...

...

Однажды сидел я на своем балконе на девятом этаже и рассматривал дом напротив. Днем. Ничего особенного я увидеть не ожидал, так... смотрел просто на бетонные стены и окна.

Приобщался тупости отвеса.

Учился у мертвой материи – кротости и верности функции.

Ласточки то и дело секли поле зрения своими черными хвостиками, неторопливо пролетали вороны, весело и быстро – воробьи, и еще какие-то птахи. Тополя махали своими зелеными руками и мешали смотреть. Бабочки суетились. Шмели...

И вдруг увидел, и тоже на девятом этаже, только не на балконе, там балконов нет, а просто в окошке каком-то, настежь открытом, человека, смотрящего в бинокль. Чем-то он был на меня похож. Старый, лысый, толстый. Сидел на стуле у окна и смотрел на мир. Вроде из наших. И кажется такой же... одинокий и потерянный.

И он меня заметил. Минуты две мы друг друга рассматривали, а потом он мне рукой помахал. Приветственно. А я – ему.

На том и кончилось наше первое воздушное общение.

С тех пор я его часто видел. Почти каждый день. После обеда я всегда сажусь в кресло на балконе. Читаю несколько минут. Потом беру в руки бинокль. И наблюдаю жизнь, из которой меня несколько лет назад выкинуло. Смотрю туда... на него.

А он уже смотрит на меня. Мы друг друга приветствуем. Я отдаю ему честь, а он показывает пальцем на лысину. Я догадываюсь – это значит «к пустой голове руку не прикладывают». Но не обижаюсь, а киваю, что означает «да, голова пустая, но блаженная» и показываю на него пальцем («и у тебя тоже»). Он понимает и кивает в ответ.

Вот он показывает пальцем на группу мусульманских мужчин с глазами и прическами головорезов и женщин в черных платьях до пят и темных платках. Это новые беженцы. Из Сирии. Их теперь много тут разгуливает. Показывает и скорбно качает головой. Потом вздымает руки в бессилии что-то изменить. Я киваю и тоже качаю головой и вздымаю руки. Это значит «да, да, согласен, это второе после завоза сюда миллионов турок-гастарбайтеров самоубийство Германии, ничего не поделаешь, полезные идиоты, леваки, кретины, не жалеющие ни собственных детей, ни своей культуры».

Я показываю ему рукой на группу людей, тусующихся у местной забегаловки. Это опустившиеся алкоголики. Почти все – наши. Русские мужья «поволжских немков» из бывшего СССР. Качаю головой. Это значит – «эти не лучше». Он кивает и опять вздымает руки, пожалуй еще безнадежнее, чем в первый раз – «мы от этого уезжали... и вот опять... та же советская пьяная мразь».

Показывает рукой на отдаленное одноэтажное здание. Это то ли клуб, то ли кафе, то ли качалка... Там собираются вечерами марцанские неонацисты. Я смотрю туда и вновь вздымаю руки – «это вообще ни в какие ворота не лезет... их все больше и больше». Провожу большим пальцем по шее – «эти всех нас поубивают, когда нынешняя власть все угробит». Он кивает и показывает еще раз на сирийских женщин – «или они или дети этих мусульманок». Я энер-

гично киваю в ответ. Подношу большой палец ко рту и делаю блаженную мину – «пошел пить кофе со сливками».

Он кивает и горько разводит руки – «а я давно пью только воду... вонючую берлинскую воду из-под крана».

...

Так я общался с моим беззвучным собеседником до самой осени. А потом, то ли он перестал открывать окно... холодно стало... то ли переехал.

Я и позабыл о нем.

А затем... Разговорился я как-то с знакомой продавщицей в русском магазине. Под самое Рождество. Как ее зовут? Любочка... Людмила... Липа... Не помню. Толстомяся такая, грудастая, руки сальные, и обсчитать может безбожно, но добрая. Хоть и «крымнашка».

Говорит мне эта самая Люба-Липа:

– А вы слышали, что у нас тут за несчастье-окаянство приключилось? В октябре что ли...

– Какое такое несчастье-окаянство в октябре?

– А с одним евреем случилось. На вас похож. Я, как узнала, подумала: с вами, да... Испугалась я. Нехорошо такого умного покупателя терять. С вами хоть поговорить можно по душам. А то тут такие ходят... Ублюдки паршивые. Берлин вроде, а народ, как в Челябинске.

– Не томите, говорите, что произошло.

– Точно не знаю я. Никто не знает. Но бабы говорят, смертоубийство вышло. Убила еврея одна румынка!

– Что за румынка?

– А бездомная, нищая, что тут летом таскалася. Видели вы ее. Ее все мужики замечают, потому что она не такая.

– Не какая?

– Ну необыкновенная. Ведьма она. Любого мужика разожжет. У них, у цыган, в крови огонек особый! Глазами сверк-сверк... и ваш брат на коленях.

– Да ну?

– Бабы говорят, он ее увидел и пожалел. А может и приворожила старого пердуна, на лавочке разлеглась... Ой, простите. Это я не про вас. В квартиру ее к себе взял. Отмыл, да накормил. Вдовец, бабы лет десять не видел. Он тут бывал, покупал пельмени с индюшкой. Аккуратный такой. Гречку еще брал и конфеты «Птичье молоко». Ну вроде вас. Только говорил мало. Рот ему скривило, удар, наверное, был. Ну, она его зажгла, и он с ней того... женихался-кувыркался... уж как мог. А она под утро, как он заснул, горло ему перерезала бритвой, а может и перегрызла, сука! И всю кровь из него выпила, дракула окаянная... Квартиру ему изгадила... на стене гадость какую-то нарисовала... вроде сороконожки или муравья... кучки везде наложила, как лисица... и бежать. Даже дверь за собой не захлопнула. Соседи через день зашли и посмотрели. Еврей мертвый лежит, голый и страшный. Серый, без кровинки. А на стене сороконожка... Да, полиция румынку эту вроде заарестовала. Судить будут. А еврея на еврейском кладбище похоронили. На Вайсензее. Тама кладбище огромное, все надгробья – мраморы-граниты, тока туда никто не ходит. Некому.

...

Я, разумеется, не поверил ни одному ее слову.

Абсент

«У восьми озер»

Ленинградская область. Дом отдыха «У восьми озер».

Лето не помню какого года. Но помню, что баскетбол, теннис, плавание, кинофильмы про шпионов, лук и стрелы, казаки и разбойники, мороженое и шоколад, Конан Дойл и Луи Буссенар – меня интересовать перестали.

По моим нервным волокнам ходили волны похуже японского цунами. Они легко уничтожали все то, что советская школа, пионерия и комсомол успели во мне построить. Мой член стоял часами без всякой причины, как бы сам по себе... с кончиков пальцев сыпались искры, из ушей шел пар, и я всерьез боялся, что превращусь в дьявола и начну летать по небу и жрать людишек как птица насекомых.

Мои родные не замечали моего состояния. Сердились только на то, что я перестал с ними разговаривать, грубил и убежал из дома. Учителя... Помощи ждать было неоткуда.

Через открытые ворота ко мне пришел разврат, грозя и вовсе сбить с копыт неоперившегося юнца. Но не сбил. Скорее, наоборот...

Разврат этот принял форму симпатичной интеллигентной женщины средних лет.

Одним чудесным солнечным утром, в яблоневом саду, на берегу одного из восьми озер... она подошла ко мне, улыбнулась обворожительно и всепонимающе, но не без дружеской иронии и откровенного интереса к моей, сгорающей заживо в пубертетном синем огне, персоне, потрепала меня по вихрам своей немолодой уже рукой – на ее слегка подпорченных подагрой пальцах было надето не менее дюжины золотых колец, купленных явно не в СССР – и сказала: «Я Лидия Минская, переводчица с английского и французского. Моего мужа зовут Михаил Иосифович, он профессор МИМО. Но для тебя мы – тетя Лида и дядя Миша. Я знавала твою бабушку и деда еще в пятидесятых. Тебя, Гошенька, помню еще младенцем. Ты был такой милашкой. Кудри до плеч. Да... На отдыхе мы – преферансисты. Хочешь, поучим тебя этой прекрасной игре? Тогда приходи к нам, в комнату 58. Через пятнадцать минут. Да, бабушке можешь об этом и не рассказывать. Боюсь, она не обрадуется. Пусть это будет нашим секретом... Понимаешь?»

«Понимаешь» она произнесла, понизив голос до чувственного кошачьего урчания, но, пожалуй, слишком аффективно. Я мгновенно насторожился, но затем мой взгляд случайно упал на глубокое декольте ее пестрого ситцевого платья, не скрывавшее полную ухоженную грудь, и по всем моим ганглиям пробежала электрическая волна такой силы, что думать я не мог и на предупредительный сигнал интуиции не отреагировал.

– Понимаю.

– Придешь?

– Приду.

– Приду, тетя Лида?

– Тетя Лида.

Знакомство с «преферансисткой» и ее многообещающее приглашение меня обескуражило. Интуиция посылала мне сигнал за сигналом – опасность-опасность-опасность! А желание отвечало вяло: «А чего ты боишься-то? Тетю Лиду? Нашел, кого бояться. А преферанс – игра умных людей...»

Интуиция моя знала, что желание хочет вовсе не преферанса. А желание лгало само себе, стреляло во все стороны цветным фейерверком, только не в ту сторону, в которую мне хотелось выстрелить больше всего – между ног тети Лиды.

Зачем природа заставляет нас самих себя бесконечно обманывать? Придумывать хитроумные отговорки? Хвататься за такое большое количество соломинок, что из них можно было бы собрать Босховский «Сток сена»? Что за путаница?

Откуда этот вечный ложный стыд?

Почему я не мог просто сам себе сказать: «Тебе нравится эта тетя Лида. Ты хочешь вступить с ней в половую связь. Так сильно, что штаны трещат и шаровые молнии летают. Сейчас ты пойдешь к ней и сделаешь то, что ты так хочешь».

Почему-почему... Потому что так был воспитан. Как так? А по-советски. Одно вранье ехало на другом вранье. И погоняло.

...

Через четверть часа я постучал в комнату 58.

Сюрприз! Открыл мне мужчина. Дядя Миша.

– Что вам угодно?

Голос спокойный, низкий, благородный.

Высокий, полный, старше тети Лиды. В заграничных светлых шортах из мягкой ворсистой ткани и пестрой свободной рубаше. Босой. Ноги холеные. На левой руке – дорогие золотые часы. На правой – несколько золотых же браслетов. Роговые очки. Внимательные глаза. Я сразу заметил, что что-то было в них не то. Соблазн.

Тут к дяде Мише подошла тетя Лида и, ласково положив ему голову на плечо, что-то прошептала на ухо. Милый...

Дядя Миша мгновенно надел на лицо маску гостеприимного хозяина. Профессора, приглашающего студентов в аудиторию, для того, чтобы прочесть им лекцию о Кафке и Музиле. Лучшего мудростью и доброжелательностью.

Вошел.

Комната особого впечатления на меня не произвела. Двухспальная кровать. Шкаф. Круглый карточный столик. Три стула. На столике – карты, изумрудно-зеленая бутылочка затейливой формы и три хрустальных бокала. Маленькое сито. Несколько кусков сахара. Кувшин с питьевой водой.

Меня пригласили сесть за стол. Я сел, и хозяйева сели.

И тут же дядя Миша разлил в бокалы какую-то зеленоватую жидкость из бутылки... ликер? Потом положил сахар в сито и потихоньку долил в бокалы воду из кувшина, через сахар.

Поднял свой бокал, сверкнувший на солнце голубым и желтым, и провозгласил: «Будем здоровы и счастливы, друзья! Выпьем за Солнце, за этот прекрасный день, которое оно нам подарило, за новое знакомство и счастье в его переливающихся лучах, за радостное соитие тел и за божественный полный преферанс!»

Дядя Миша поиграл бокалом в солнечных лучах... тетя Лида сжала руки на груди, восторженно глядя на своего мужа.

Я еще не успел удивиться, как они уже выпили содержимое своих бокалов.

Отставать не хотелось... я тоже радовался новому знакомству, Солнцу, преферансу и «соитию тел»... выпил зеленую жидкость маленькими глотками... и сразу почувствовал тупой удар в голову... Жидкость эта была крепка.

Мне показалось, что солнечные лучи, «косою полосой шафрановой от занавеси до дивана» вдруг обвилились вокруг моей шеи, как теплый ласкающий шарф из света... в глазах засверкали золотые струны... они начали переплетаться, превратились в металлические колося на фонтане в ВДНХ... я чуть не упал со стула, но удержался и стал смотреть на то, что делает дядя Миша. А он взял в руки карты и начал их тасовать.

Потасовал и разложил колоду по столу длинной лентой, рубашками вверх.

И попросил: «Открой, Гоша три карты».

Не слушающейся рукой я открыл ему три карты. Все они были червовыми дамами.

И тут... все три дамы вылезли из своих карт и, взявшись за руки, начали вшестером танцевать какой-то странный менуэт с поклонами и реверансами. Откуда-то вынырнули два червовых короля и два валета и присоединились к дамам. Один валет почему-то подмигивал мне и смешно задирает ножки в панталончиках.

Меня мутило, а дядя Миша и тетя Лида громко и радостно хохотали.

Затем дядя Миша сказал, поблескивая глазами, похожими на влажные сливы, тете Лиде: «Пора, мон шер ами...»

Она взяла меня за руку, подняла со стула и раздела, медленно, как, наверное, раздевают манекены.

Раздевала, гладила, возбуждала-целовала и все время насвистывала какую-то сладкую мелодию. Потом быстро разделась сама, легла на кровать и увлекла меня за собой. Дядя Миша был уже там.

Как только я проник в пахнущую мускатным орехом тетю Лиду, в меня сзади проник дядя Миша. Не так, как вы подумали. Боли это проникновение мне не причинило. Мы превратились в живой, пульсирующий трехслойный бутерброд. Мечта моя – о близости с взрослой женщиной – осуществилась.

Первым кончил дядя Миша.

Пока я заканчивал дело, он сидел за карточным столом и тасовал колоду. А вечером того же дня я расписал первую в моей жизни пульку. Никаких драм или сексуальных трагедий после этого в моей жизни не произошло. С сумасшедшей этой парочкой я встречался еще годы после этого лета.

Я многим им обязан. Они не только ввели меня в мир эроса, но и познакомили с книгами Гессе и Жан-Поля. Открыли мне глаза на то, чем на самом деле был Советский Союз. И дали мне уроки терпимости к интимным предпочтениям других людей.

А в изумрудной бутылочке был абсент, к которому выездной дядя Миша прирастил за границей.

Современное искусство

Похожая история, только с другим концом, произошла со мной в декабре 1990 года в Кёльне.

Мне уже стукнуло тридцать девять, я окончил университет, отработал в различных НИИ 15 лет, имел троих детей, неоднократно участвовал в выставках художников-нонконформистов, имел мужество стать эмигрантом-невозвращенцем... но глубину моей наивности невозможно было измерить никаким лотом. Но жизнь измерила.

Да, кстати, ни педерастом-двустволкой, ни другим каким-нибудь секс-маргиналом после того моего приключения «у восьми озер» я не стал. Женился, как и положено, перед окончанием МГУ. По любви. Развелся через семь лет по той же причине. Женился еще раз. Был счастлив в обоих браках. Но погуливал...

Да... я тогда в Германии рисовал, рисовал что было сил в «лагере» для контингентных беженцев, наслаждаясь тем, что не надо больше думать о Горбачеве, КГБ, Афганской войне, о «судьбах России» и о добывании хлеба насущного. Пособия моего вполне хватало на сытую жизнь.

И к декабрю собралась у меня толстая папка «энигматических рисунков», как я их тогда называл. Это были абстрактные композиции, напоминающие башни или башнеобразные висящие конструкции, призванные внутренним своим многообразием привлекать и всасывать род-

ственное многообразие зрителя и создавать вместе с ним некую общую мерцающую живую структуру... Как бы принадлежащую сразу трем мирам – миру графики, внутреннему миру сознания человека, представляющемуся мне как сюрреалистический ландшафт и миру возвышенно-метафизическому... Небесному Иерусалиму.

К сожалению, мои рисунки не были по-настоящему моими, а предательски напоминали иературы Михаила Шварцмана, который был одно время моим ментором, но грубо оттолкнул меня, когда заметил, что я ему подражаю. Правильно сделал. Его талантом я не обладал и долгий путь по следам мастера свел бы меня с ума.

Но тогда, в девяностом, мне казалось, что я нашел наконец «свое воплощение». Не такое мощное, как у Шварцмана, но жизнеспособное. Поэтому я решил осчастливить «бездуховный Запад» своей выставкой. Что я для этого сделал? Купил фотоаппарат Поляроид, сфотографировал им свои рисунки и начал рассылать крохотные фото в лучшие музеи Германии – в Мюнхенскую пинакотеку, в Дрезденскую галерею, в музей Людвиг. И еще в десяток других подобных собраний.

Безумие, глупость, наивность? Да.

И я это краешком разума чувствовал. Но меня, как это часто и бывает у дураков, собственное безумие вдохновляло, а не пугало...

Я считал его необходимым атрибутом гения и наслаждался им. Даже не смешно.

На мои письма с обратным адресом «лагерь для беженцев Глаухау» ответил только господин Д., куратор графического собрания музея Людвиг. Он пригласил меня на беседу, назначил термин на пред рождественское время. Я собрал свои последние марки и поехал в Кёльн. С толстой папкой рисунков в брезентовой сумочке.

Я надеялся на то, что господин Д. расхвалит мою продукцию до небес и купит всю папку для музея, заплатит мне наличными тысяч тридцать, и я смогу остановиться в хорошем отеле... и даже покинуть навсегда осточертевшее саксонское захолустье.

Как это ни странно, но господин Д., симпатичный молодой человек, действительно восторженно похвалил мои работы. Я принял похвалы как должное... не заметил, что это было лишь вежливое, но твердое НЕТ. Нет – дальнейшему сотрудничеству, нет – выставке, нет – деньгам.

Заметил я это только когда выходил из его роскошного кабинета, на стене которого висели работы Энди Уорхола, этого успешного профанатора, так нагло использовавшего невероятную дурость публики и алчность маршанов... которого, может быть именно из-за моего фиаско в Кёльне, я возненавидел позже лютой ненавистью. Он воплощал для меня самую разрушительную тенденцию современного искусства, приведшую к его самоуничтожению – стремление угодить тупой обывательской массе. Сейчас я отношусь и к нему и к другим мусорщикам от искусства вроде Йозефа Бойса более терпимо. Каждый живет и рисует, как умеет.

Да... после того, как я вышел из музея на улицу... мне оставалось только пойти на мост и броситься в Рейн. Очень хотелось так и поступить. Но я знал – я выплыву. И все мои проблемы догонят меня как гончие псы – дичь.

Поэтому я на мост не пошел, а решил еще раз попытать счастье – в кёльнских коммерческих галереях, длинный список которых мне подарил на память господин Д.

Не буду описывать это долгое пешее путешествие по Кёльну с картой в руках. Всего я посетил тогда галерей двадцать пять. Обычно мне просто не открывали, услышав мой ломаный немецкий и мою русскую фамилию. Иногда открывали и вежливо объясняли, что не разговаривают с художниками «с улицы». Некоторые галерейщики даже пытались мне внушить, что «время русского искусства прошло», а мне лучше заняться чем-нибудь разумным, например, попытаться устроиться таксистом. Мою папку не открыл никто. До этого дело не дошло.

Один галерейщик, последний, папку все-таки открыл. Точнее, это была пара маршанов – муж и жена, господин Бенедикт и госпожа Гизела. Так мне запомнились их имена.

Эти люди пригласили меня в свою галерею, находящуюся на первом этаже современной виллы в голландском стиле, составленной из разноцветных бетонных кубиков, и провели по собранию живописи и пластики. Я был поражен количеством и качеством картин и скульптур русского авангарда. Имена сверкали сильнее красок: Малевич, Кандинский, Татлин, Лисицкий, Ларионов...

Чем-то эти люди сразу напомнили мне дядю Мишу и тетю Лиду. У госпожи Гизелы на пальцах было не меньше золотых колец, чем когда-то у тети Лиды, и разрез на ее шикарном платье напоминал тот разрез и то, что из него тогда выглядывало, а вальяжный господин Бенедикт носил дома такие же шорты и пеструю свободную рубашку, как дядя Миша «у восьми озер», был бос... и его глаза были тоже похожи на влажные сливы...

Я был склонен тогда к мистическим параллелям и решил, что это именно они и есть – Миша и Лида... реинкарнация или что-то в этом роде, если бы не знал наверно, что дядя Миша уже лет пять как в могиле, а одинокая старушка тетя Лида доживает свой век в ленинградском доме для престарелых литераторов.

И я не удивился, когда после просмотра моей папочки... с жидкими комплиментами и похлопыванием по плечу... господин Бенедикт предложил мне выпить абсента. Из точно такой же изумрудной бутылочки.

...

После абсента я не галлюцинировал... мне было хорошо. Проклятый кельнский день, полный унижений, наконец кончился. Я общаюсь с настоящими знатоками русского искусства! Пью абсент...

Я и представить себе не мог, чем кончится наступивший вечер.

Мы сидели втроем за столом, господин Бенедикт курил сигару, госпожа Гизела – изящную серебряную трубочку, а я вертел в руках два нежно позванивающих металлических шарика фэн-шуй... Госпожа Гизела, кокетливо посматривая на меня, отобрала у меня шарики и показала, как надо их вращать в руке.

Господин Бенедикт разглагольствовал о ситуации на рынке искусства. Понимал я только треть сказанного им. Мой немецкий не вышел еще из зачаточной стадии.

– Вы, господин Ш., слегка опоздали. Два года назад в Лондоне работы советских нон-конформистов покупали по несколько тысяч фунтов за штуку. Кое с кем заключили многолетний договор. А теперь волна прошла, мода на русских сменилась разочарованием. Потому что влиятельные американские торговцы, которые правят у нас бал, в искусстве действительно не понимают и ч е г о – решили этот русский проект прикрыть. И сделали так, что в вас стало невыгодно инвестировать. А это – смертный приговор. Да-с. Мне нравятся ваши работы, хотя они... как бы это сказать... элитарные. А сейчас это не в ходу. Нужно, чтобы каждый болван понимал, что нарисовано и для чего. И побрутальнее. Предмет. Цвет. Фигура. Такое покупают. А вы – перемудрили. А это сейчас выглядит старомодным. А ваш апломб, право, только смех вызывает. Небесный Иерусалим... кому он нужен, когда в настоящий Иерусалим каждый поехать может? Но вы не расстраивайтесь. У меня есть одно предложение... Как вам у нас, нравится? У нас еще и бассейн есть... в подвале. Хотите прямо сейчас искупаться? Мы будем рады, если вы нам составите компанию. Поплаваем, побрызгаемся, побудем детьми... Потом поужинаем и поговорим всерьез. А перед этим еще рюмочку абсента. Я пью его без воды и без сахара. Божественный напиток.

Не знаю, что со мной произошло, но я согласился на совместное купание. Хотя и понимал, что это глупо и может закончиться позитивным тестом на СПИД.

Меня заинтриговали слова господина Бенедикта о «предложении и серьезном разговоре».

Пошли в подвал.

По дороге, на лестнице я вдруг почувствовал, что второй бокал абсента может не остаться без последствий. Меня пошатывало, поташнивало... и совсем не понятно почему, захотелось ударить господина Бенедикта по затылку большой никелированной фигурой рыбака с круглой дыркой вместо сердца.

«У вас у всех дырки вместо сердца – думал я. – Рыбаки засранные... Я тебе покажу “апломб”. В морге будешь проповеди русским художникам читать, сволочь...»

Приступ злости, однако, прошел еще до того, как я увидел волнующуюся голубую водичку в бассейне.

Рядом с бассейном можно было принять душ, вода стекала в дырку в теплом кафельном полу. Я разделся, почему-то не стесняясь чужих людей, встал под душ, прополоскал рот, намылился душистым мылом...

Ко мне подошла госпожа Гизела и стала тереть меня мягкой трехцветной мочалкой. Я воспринял это как должное. Половые органы она мыла мне рукой. Быстро добилась эрекции... а потом, весело хохоча прыгнула в бассейн. Брызги образовали на мгновение вокруг ее фигуры огромную корону.

Господин Бенедикт плыл брассом... фыркал и шумно дышал... его правильно поставленная улыбка источала достоинство и доброжелательность.

...

Поплавали. Побрызгались. Почувствовали себя детьми.

Под водой госпожа Гизела тихонько ласкала меня, а я отвечал ей тем же.

Вышли из воды. Господин Бенедикт подал мне шелковый халат с дракончиками и помпончиками.

Ужинали на верхней застекленной веранде, уставленной кадками с неизвестными мне растениями. Ели норвежских омаров под каким-то соусом, пили легкое вино.

После ужина у меня состоялся «серьезный разговор» с господином Бенедиктом.

Госпожа Гизела деликатно молчала, только незаметно для мужа делала мне глазки и иногда как бы случайно распахивала свой умопомрачительный халатик. Под ним было только полупрозрачное черное белье сеточкой. Я возбуждался и нервничал.

Говорил собственно только господин Бенедикт.

Прежде чем я его тут процитирую, хочу спросить кое о чем читателя. Знаете ли вы, что самое трудное для эмигранта, плохо владеющего языком своей новой родины?

Уметь различать «серьезную» и «не серьезную» речь. Почувствовать, где правда, а где ирония, юмор, сарказм. Это и на родном-то языке не всегда легко, а на чужом – невозможно. Почему я спрашиваю?

Потому что то, что сказал мне тогда господин Бенедикт, вовсе не было «серьезным разговором». И его «предложение» не было «серьезным предложением», а было скотским притворством, враньем, издевательством, ловушкой для высокопарного самовлюбленного дурака, для меня. И в этот капкан я всунул своё эго, свой уд и голову.

– Дорогой господин Ш., ваше искусство меня убедило... Я хочу заключить с вами коммерческое соглашение на год. Не буду бросать слова на ветер. У меня есть готовый бланк договора, остается только вписать в него ваше имя и подписать. Вот он. Но прежде чем это сделать, объясню вам кратко ваши обязанности. Вы должны будете прожить весь год, начиная с завтрашнего дня, у нас в галерее. Вам предоставляется оплачиваемый двухнедельный отпуск. Но только после того, как вы отработаете у нас, по крайней мере, шесть месяцев. Рабочий день ваш – с десяти утра до шести вечера. Главная обязанность – рисовать и помогать нам в галерее. Убирать и чистить будет прислуга, вам придется подменять нас во время отпуска, разговаривать с покупателями, помогать нам развешивать картины для новой экспозиции. Кроме того, вы обязаны предоставлять нам для продажи не менее восьми цветных рисунков размером не меньше А4 в месяц. Авторское право на эти изображения останется у вас, сами работы станут

собственностью галереи. Я оставляю за собой право рекомендовать вам стиль, материал, технику и цветовую гамму ваших рисунков. Мы предоставляем вам для жилья отдельную комнату на третьем этаже виллы со всеми удобствами, даже с небольшой встроенной кухней. Рисовать вы можете в большом зале галереи. Материалы, краски, холсты предоставим вам мы. Кроме того, мы будем платить вам по две тысячи марок в месяц и оплатим все необходимые страховки. За каждый проданный рисунок вы будете получать премию в размере десяти процентов от продажной цены. Хочу еще заметить, что я не слепой и видел, как моя жена весьма фривольно заигрывала с вами, и вы на это отвечали так, как ответил бы любой другой на вашем месте. Заявляю вам официально, что и я и моя жена являемся свободными людьми и вольны делать в интимной сфере то, что каждому из нас приятно. Поэтому не стесняйтесь.

...

Разумеется, я подписал такой договор. И намотал на ус последнее поучение.

Мне показали мою комнату. Я остался ею доволен. Мне пожелали спокойной ночи и оставили меня в покое.

Я сел в кресло у окна и стал смотреть на ночной Кёльн. Видел хорошо освещенный собор, несколько высоких зданий, телебашню, какие-то трубы на горизонте, из которых валил пар.

Я не знал, что думать, что чувствовать.

Радоваться? Да. Но все это – и вилла, и бассейн, и галерея, и госпожа Гизела с ее ласками, и странный господин Бенедикт, и предстоящий год труда, и договор – казалось мне чем-то вроде бутафории. Какой-то игрой.

Да... может быть, и игра. Но договор – вот он. На прекрасной бумаге. И подписи, и цифра прописью...

К сожалению, все это и было игрой. Жестоким игрой богачей с бедняком. И договор наш был филькиной грамотой. Если бы я хотя бы удосужился тогда прочитать то, что подписываю... Но я доверял немцам.

Влез под атласное одеяло и задремал.

...

Но не заснул. Слишком был взволнован.

Через какое-то время дверь открылась и в комнату вошла женщина.

– Госпожа Гизела?

– Да, милый. Я пришла к тебе, чтобы провести с тобой ночь. Я принесла еще две рюмки абсента. Выпьешь?

Голос ее звучал как-то странно. Охрипла?

Мы выпили, я отвернул одеяло, и она нырнула ко мне... обняла меня крепко, схватила меня за член и засунула свой язык мне в рот... жадно целовала мне грудь и живот... взяла член в рот, массируя яички сильной рукой.

Я к таким энергичным ласкам готов не был и кончил через минуту.

И тут... в комнату вошел еще кто-то и зажег свет.

Это была госпожа Гизела!

А у меня в ногах сидел... скорчившись от гомерического хохота, господин Бенедикт... с моей спермой на напояженных губах, в парике, в специальном бюстгальтере с накладными поролоновыми грудями, в шелковом халатике и женском белье.

Госпожа Гизела тоже начала смеяться. А потом вдруг закашлялась, надулась, как пузырь... и лопнула, оставив после себя только белые ошметки.

А господин Бенедикт начал танцевать джигу и прошелся вихрем по комнате и по потолку. Подлетел ко мне и заорал прямо в лицо, бешено вращая своими глазами-сливами: «Убирайся! Убирайся отсюда, кретин! Вызываю полицию».

Я схватил свою одежду и обувь и, пролетев молнией четыре пролета лестницы и опрокинув стоящие на ней металлические скульптуры, которые с грохотом упали и разлетелись на куски, выбежал на улицу.

Папку в суматохе забыл.

Когда я одевался, на третьем этаже виллы кто-то открыл окно и швырнул из него мне под ноги мою папку с рисунками. Я услышал смех и ругательства...

Рисунки вылетели от удара об асфальт из папки, как ласточки из норы на обрыве. Проезжающий в этот момент мимо меня красненький Opel Omega порвал часть рисунков, поволок их с собой. По оставшимся проехал тяжелый старый Мерседес и замазал их грязью...

Я сидел на тротуаре и смотрел, как машины уничтожают мой Небесный Иерусалим. Мою мечту.

Кажется, в эту горькую минуту я и понял, что такое на самом деле современное искусство.

Невыполненное обещание

Третья похожая история случилась со мной позавчера.

Позавчера!

Из-за нее я и первые две истории вспомнил и записал. Сидя тут, в камере.

Да... Шатает меня, носит черт знает где, видите, в прошлое бросило... потому что будущего у меня больше нет... четыре стены вокруг, окно с решеткой... а кому прошлое интересно, да еще и чужое?

Третья история будет еще круче первых двух. Обещаю. И закончится весьма и весьма кроваво, так что если у вас нервишки... того... то лучше про животных что-нибудь посмотрите по телевизору. Про животных? Сказанул. Вот уж где кровяшка как вода льется... ад без конца... беспредельщина и каннибализм. Природа.

Неделю назад я получил по почте письмо, от поклонницы. Цитирую письмо по памяти (оригинал забрали полицейские):

Дорогой Ш., мой муж и я – верные поклонники вашей прозы. Давно мечтаем познакомиться с вами. Приглашаем вас к себе на ужин. Меню – жульен из шампиньонов и черепашьего мяса, жаркое из косули, тирамису с клубникой. Из питья – швейцарский абсент «Ангелик» с мадонной на этикетке, приготовленный по оригинальной технологии.

Посидим, поедим, поболтаем. Если у вас будет желание, расскажете нам что-либо о вашем творчестве, а мы познакомим вас с нашим особенным хобби. Хи-хи.

Будем ждать вас в воскресенье, начиная с шести вечера, в Шарлоттенбурге, на улице такой-то, в доме номер... Вход в подъезд – со двора. Лифт, третий этаж, квартира справа, там, где пальма и зеркало.

Приходите! Ждем!

Ли и Эд М.

...

Ехать в Шарлоттенбург мне, естественно, не хотелось. Отъездился я уже. Новых людей не хочу видеть, так же, как давно уже не хочу читать новые книги. Ну разве что моих знакомых писателей иной раз по диагонали почитаю – для того, чтобы было о чем говорить при встрече...

Верные поклонники моей прозы? Что-то не верится. Мазохисты? И это самое «хи-хи» меня озадачило. Может, психованная какая тетка? Писатели – как магниты железный мусор – притягивают к себе всяческих психопатов. И гнойных графоманов и великих прожектеров, революционеров, мечтателей и просто дураков. Рыбак рыбака...

И ее жульен с тирамису мне есть не хотелось, может и гастрит разыграться, буду мучиться потом целый год... из-за вкусной жратвы... обидно и несправедливо, другие вон как жрут... а я хоть и толстяк, а горло тонкое, как у аиста.

И упоминание об абсенте меня озадачило. Неспроста она его упомянула! Или у нее потрясающая интуиция или она что-то где-то обо мне вынюхала, и ей чего-то от меня надо... Хм... Что?

И это «особенное хобби» тоже как-то странно прозвучало в письме. Что она имеет в виду? На живца ловит?

Меня? Старика... почти без средств?

Что ей все-таки от меня надо? Душу что ли вынуть хочет и дьяволу продать? Так ведь давно продана, как и у всех у нас, бывших советских. Да... дилемма. Жаркое из косули – это звучит гордо. Последний раз ел на общем собрании товарищества художников «Латерне». Вкуснятина. Но тогда косулю эту Холькер сам в лесу пристрелил, бедняжку, свежевал... а затем сам и приготовил, в красном соусе три дня отмачивал, обжарил и пять часов в духовке запекал... все, как полагается... мастер... паучий король. Вся квартира в аквариумах с пауками. А жены нет. Убежала от пауков.

Решил поехать в Шарлоттенбург. Если что не так... вильну хвостиком и слиняю.

Поехал.

Уже в с-бане начались знамения. Недобрые.

Собачка на меня вдруг залаяла. Не злая. Шпиц. Просто зашла в лае. Хотела укусить, но ее хозяйка оттащила. Чем я ее разозлил? Сидел себе мирно за два ряда от нее. Вот же скверная псина! Что-то она почувствовала. Излучение какое что ли? Неужели просто от мыслей голова начинает что-то такое излучать? Я ведь тогда об этом самом «особенном хобби» моих приглашателей подумал. И об этом гаденьком «хи-хи». Занесла меня фантазия далеко-далеко...

Что же это, даже подумать о таком нельзя? Начнешь излучать какой-нибудь ультрафиолет и псы на тебя накинутся как на зомби... а потом и люди.

А когда выходил из с-бана на остановке Шарлоттенбург ко мне нищий привязался. Молодой такой паренек. Худой как скелет, шея синяя, лицо как у птицы...

Глазенками сверкает, пальцами цепляется за мою куртку, хрипит что-то. Я достал монетку – два евро, с портретом Данте, подал ему. Он монетку схватил... я заметил, что он ужасно на Данте этого похож, только грязен.

Я от него убежал. Мало ли что. Нищий догонять меня не стал, но прокричал несколько раз истошным голосом: «Не ходи туда!»

И пальцем своим костлявым показал как раз туда, куда мне идти надо было. А потом подбежал к другому прохожему и вцепился в него...

А когда я у входа звонил, чтобы дверь открыли, увидел над фасадом лепное украшение, вроде горгульи... голову оленя с рогами и с высунутым языком...

И сразу же догадался, что сейчас произойдет. Так и вышло – голова ожила, язык ее покраснел, глаза заморгали, а рога немного выросли. Гипсовый олень противно улыбнулся и кивнул. Так кивают старому знакомому. Или долгожданному гостю.

Опять занесло меня в фильм категории Б. Судьба.

Ну что же, посмотрим, что на этот раз придумали сценаристы. Развязать все узелки в конце будет трудно. А разрубить их топором у них не хватит мужества. Придется перекладывать с больной головы на здоровую... или наоборот. Вручать топор персонажу.

Я поднялся на лифте на третий этаж и позвонил в дверь рядом с искусственной пальмой и треснувшим зеркалом в богатых бронзовых рамах.

...

Мне открыла седая женщина лет шестидесяти в простом открытом платье, не прикрывающем колен. Лицо ее показалось мне грубоватым. Прекрасно, впрочем, сохранилась дамочка. Зубы отбелены. Кожа ухожена. Сексапильная вполне.

Где-то в глубине коридора замаячил ее муж, неловко изображая своим приталенным торсом и узкими плечами смущение и гостеприимство...

Эд был лысоват. Горбонос. Худ. Под темной жилеткой – белая неглаженная рубашка. Брюки были, пожалуй, слишком широки для его худых бедер. Остроносые темные ботинки.

Эд курил сигарету и смотрел себе под ноги.

– Как же я рада! – воскликнула Ли.

– Как мы рады, – пробасил Эд и затынулся.

– Очень, очень приятно, – выдавил я, хотя в душе уже проклинал себя за то, что сюда притащился. Но приятный запах жаркого примирил меня с жизнью, и я даже смог изобразить на лице что-то похожее на приветливость.

Мы с Ли сухо расцеловались. Эд несколько раз поклонился на бок.

Прошли в гостиную.

Эта большая, метров сорок квадратных, комната поразила меня своей простотой, пустотой.

Два темно-синих кресла. Несколько стульев. Квадратный стол. На столе четыре тарелки с приборами, рюмки и зеленая бутылка. Два больших, зашторенных охряным полотном окна. На стене – зеркало. Под ним комод. На комод – графин с водой. Пол заляпан краской. Большой старомодный мольберт в углу. Несколько больших картин, прислоненных к стене лицевыми сторонами.

Видимо прочитав мои мысли, Ли сказала: «Эту комнату мы используем как мастерскую. И Эд и я – художники. Это наше хобби. Но наши картины мы вам показывать боимся. Начнете еще критиковать...»

Ага. Вот хобби и разъяснилось, работают, работают, а по уик-эндам немножечко малюют... а меня куда в с-бане занесло... мурашки по коже.

Вечер, наверное, будет смертельно скучный.

– Ну почему же, я ведь не житомирский податный инспектор... Чего меня бояться?

– Браво! Это из Булгакова.

Тут только до меня наконец дошло, что она говорит со мной на выученном русском, правильно, но как-то безжизненно.

– Мы слависты. Живем в Бостоне. У нас годовой отпуск. Путешествуем по Европе. Были в России, Польше и Чехии. Уже три месяца в Берлине. Тут полно русских и поляков. Мы читали ваши книги. Очень интересно пишете, живо!

– Преподаете?

– Да, и преподаем. Я преподаю русский, польский и чешский. А Эд недавно прочитал годовой курс «Нарративный дискурс Набокова и Хоппер».

– Понимаю. Хоппер? Деннис? Фотограф из Апокалипсиса? Нет, конечно, Эдвард... да-да... Девушка на лугу. Этот тип, и его модели, и интерьеры, и маяки, и сама Америка – так одиноки и меланхоличны, непонятно, зачем они, собственно, нужны... ошибка человечества, как сказал Фрейд... и нарцисс Набоков понимает это, но, как эмигрант, не может позволить себе так показывать новую родину, не может ни на один процент стать маргиналом, он всегда должен быть совершенством, магом, гроссмейстером, поэтому он маскирует свою глубокую меланхолию и свое американское одиночество бабочками, шахматной доской и лолитками, которых по-видимому сам терпеть не мог, до того холодно он описывает горячий секс с ними... нашпиговывает свою прозу ледяными загадками... как баранину изюмом.

– Браво, браво! Очень, очень интересно. Только у Эда другой концепт.

Тут в нашу беседу вмешался Эд. Он жестаи пригласил меня сесть за стол и что-то быстро сказал Ли по-английски. И одарил меня растерянной улыбкой. Ли убежала.

Судя по запаху, жаркое подгорело. Из кухни послышалось хлопотливое оханье Ли.

...

Вместо того чтобы сесть, я подошел к картинам, поднял одну из них и повернул изображением к себе. Почувствовал спиной и услышал, как дернулся и закричал Эд.

Не сразу понял, что собственно на ней изображено. А когда понял, то пристально посмотрел Эду в глаза. Я не был возмущен... я не ханжа... и мои сексуальные фантазии всегда убегали далеко от мира так называемых порядочных людей... мне было лишь интересно, фантазия это или реальность...

Но Эд был непроницаем.

На картине была довольно точно изображена та самая комната, в которой мы находились, ничего не было забыто, даже графин с водой на комодке стоял...

На одном темно-синем кресле развалился Эд, в той же одежде, что и сейчас... а на коленях у него сидел худенький мальчик-негритенок, обняв его длинными бедрами и руками, доверчиво положив курчавую головку ему на грудь. Его толстые губы вытянулись и как бы хотели поцеловать пуговицу жилетки.

На другом кресле сидела старушка Ли в знакомом платье и внимательно смотрела на Эда и мальчика. Правая рука ее была под платьем.

Вот так слависты! Славное хобби!

Эд вздохнул, закурил сигарету и подошел к открытому настежь окну, из которого было видно набережную Шпрее и парк за ней. По парку бегали турецкие дети, шныряли собаки и туристы, важно прогуливались зажиточные бюргеры.

– Какая идиллия, – сказал Эд, махнув рукой в сторону парка.

– Овечки бегают, не замечая того, что на них смотрит волк.

– Дорогой господин Ш., мы с Ли действительно прочитали ваши рассказы. Так что не надо тут строить из себя праведника. И вы, и я прекрасно знаем, кто тут на самом деле волк. Вы можете сколько угодно дурачить вашу русскую публику, но меня вам не обмануть. Я знаю, что вы законченный, бесстыжий и наглый развратник. И то, что вы предаетесь вашим порокам в тексте, а не в реальности, да еще и под различными личинами, доказывает то, что вы еще и трус.

– Так поступает любой писатель... в этом единственный смысл творчества.

– Вы редкостный циник, господин Ш., все ваши тексты – изощренное издевательство над публикой, которую вы втягиваете в ваш ужасный мир, состоящий из отчаяния и порока. Поэтому вы нас и заинтересовали.

– Рыбак рыбака? Знаем. Все эти инфантильные слова – «развратник», «циник» – не имеют для меня никакого смысла... Оставьте это сотрясение воздуха неофитам. Кстати, а мальчик-то где? В соседней комнате? Или уже в могиле? Полицию когда вызывать будем?

– Мальчик? Какой такой мальчик? Вы видите на этой картине мальчика? И кого еще? Хотите вызывать полицию из-за этой картины? А почему не из-за ваших рассказов? Напомнить каких?

– Не придумывайтесь, Эд. Вы зачем меня сюда позвали? Для шантажа? Или опытом поделиться хотите?

Эд не успел ответить, в комнату вошла Ли с блюдом жаркого, бросила украдкой взгляд на картину, вспыхнула, но сдержала себя, ничего не сказала, поставило блюдо на стол и убежала в кухню. Принесла минеральную воду, хлеб, тушеную красную капусту, клюквенный соус и обещанный в письме жульен. Пир на весь мир!

Мы с Эдом сели напротив друг друга, Ли – по правую руку от меня. Я спросил Ли подчеркнуто незаинтересованно: «А кому предназначен четвертый прибор?»

Ли не ответила... бросила беспомощный взгляд на мужа. Эд недобро сверкнул глазом и заиграл желваками.

– Что, Гоша... ведь так вас звали в детстве? Почуяли запах крови? Погодите, имейте терпение, все разъяснится в свое время. Мы еще абсент не пили. Вы кстати, других картин не видели, они, возможно, заинтересуют вас больше этой... кхе-кхе... девушки перед окном. Может быть, вы все-таки расскажете нам, что вы видите на этой картине. В подробностях. Это очень интересно...

Что это он за бред несет? Он что, что-то другое видит на картине? Никогда не верил в подобную мистическую чепуху. Хотя для Б-фильма самый раз. Как в «Пасти безумия». Не хватает только этого мордоворота Ктулху с осьминожьими щупальцами, растущими из пасти. Какой вздор!

...

Ели мы молча.

От десерта и кофе я отказался. Чувствовал, что предстоит жестокий поединок, не хотел перегружать себя.

После еды Ли убрала со стола все, кроме рюмок и бутылки абсента.

Явился сахар, специальные ложки и ледяная вода из холодильника.

Эд пил абсент, просто смешав его с водой. Ли, как и положено, цедила воду сквозь сахар. Я выпил грамм пятьдесят чистого.

Тут же закружилась голова. Затошнило.

Реальность как бы освободила меня от своего гнета, раздвинула свинцовые тиски. Захотелось взлететь и выпорхнуть через открытое окно на улицу, полетать над парком и рекой. Я бодро встал и повернул следующую картину... впился в нее глазами.

Эд и Ли тоже посмотрели на полотно... покачивали головами... хмыкали... добродушно улыбались. Очевидно, они не видели на нем ни жутких сцен сексуального насилия над детьми, ни пыток, ни казней.

Неужели Эд прав, и в моих рассказах я...

Или во всем виноват этот ужасный напиток?

Багровая полоса

Эту историю мне рассказал невзрачный, худенький, белобрысый старичок с смешной челкой... из русских немцев, с которым я познакомился в местном бассейне. Лет десять назад это было. Написал тогда, под впечатлением от его откровений, с полстранички текста... что-то вроде заготовки рассказа, «по мотивам», а потом листочек куда-то сунул. В книгу. У меня нет архива – ни бумажного, ни виртуального. Выбрасываю все, зачем копить мусор?

А сегодня... решил свою запись найти и, представьте, нашел... в «Разоблаченной Изиде» Блаватской. Зачем я эту старую запись искал? Вы будете смеяться. Вчера фильм посмотрел. Про ведьм. Напомнил мне фильм историю этого казахского немца. Захотелось кое-что проверить. Сравнить.

Изида... в Экибастузе. Бывают странные сближенья.

...

Не в хлорированной фиолетовой воде, и не в душе познакомился я с старичком, а в бассейновом кафе... после купания. Размялся слегка, поплавал... душа перестала болеть... захотелось пить и есть, решил съесть венскую сосиску и выпить безалкогольного пива.

Попросил разрешения сесть за его столик, остальные места были заняты наплававшими до изнеможения пенсионерами-аборигенами. Он кивнул.

Почему я подсел к нему? Потому что узнал в нем выходца из бывшего СССР.

Мы, бывшие совки, сразу друг друга узнаем. Как? По выражению лица. И по фигуре. И по одежде. В лицах бывших граждан СССР, и в их фигурах, и даже в шмотках всегда есть какая-то потерянность... ущербность... тоска, вырождение или уродство, часто закамуфлированные наглостью, безвкусицей, тупым нахрапом.

Мой сосед по столику наглым не был. Одет был скромно. Хороший был видимо человек. От сохи. Трудяга. В СССР – безнадежный провинциал, в Германии – житель столицы. Но не дебил, как многие другие... скорее занятый. И с сюрпризом. Впрочем, у кого нет сюрпризов в биографии? Только у того, кто их тщательно скрывает.

Не сговариваясь, чокнулись пивом в пластиковых стаканчиках... выпили. Тут он подмигнул мне заговорщицки и достал из кармана брюк маленькую бутылочку с синенькой этикеткой. Шнапс. Жестом предложил подлить в пиво. Объяснять мне ему ничего не хотелось. Я мигнул в ответ, взял у него бутылочку и капнул в свой стаканчик... капельку или две... показал на живот. Скорчил кислую мину. Больше, мол не могу. Он кивнул понимающе и вылил остаток себе в пиво. Заговорил со мной по-русски с ужасным казахским акцентом, воспроизвести который я не в состоянии.

Мы представились, звали моего нового знакомого – Витя... перешли на «ты», немного позлословили, как это принято у стариков... Собеседник мой сходил еще за одним стаканчиком пива. Достал еще одну бутылочку. И еще одну. Запасливый.

Через полчаса пошли к остановке трамвая. Медленно. Я похрамывал, Витя слегка покачивался. Ехать нам нужно было в разные стороны. Вите – в Марцан, а мне – в Кёпеник, где я тогда жил со своей подругой.

Недалеко от остановки наткнулись на женщину. Старую, уродливую, то ли пьяную, то ли нанюхавшуюся чего-то. Она, неловко шатаясь, танцевала сама с собой на тротуаре. Пела и гадко гримасничала. Когда мы проходили мимо, женщина пристально на нас посмотрела, а потом несколько раз смачно плюнула в нашу сторону и пролаяла что-то. Обругала «понаехавших отовсюду проклятых иностранцев». Немцы из бывшей ГДР тоже мгновенно узнают нашего брата, совчела... не даром прожили почти полвека под советским сапогом... они терпеть не могут «аусзидлеров», переселенцев из бывшего СССР, таких как мой новый знакомый, их агрессивных детей и их лузгающих семечки русских жен, а таких как я, «контингентных

беженцев» и вовсе... загнали бы в газовую камеру, будь на то их воля. Не любят они и западных немцев. Конечно не все бывшие гэдээровцы нас ненавидят. Может, только половина или треть... я статистики не знаю... но достаточно. На себе испытал.

Смехота! А западные немцы считают жителей «новых земель» людьми второго сорта. Говорят, с них нечего взять, кроме анализа.

Мерзко все это, но что поделаешь? Пожили и восточные и западные немцы восемьдесят лет без войны... разучились ценить мир и спокойствие... уважать других людей. А тут еще мусульмане понаехали... Началась плохо контролируемая властями эмиграция с Ближнего Востока. Германия потихоньку превращается в восточный базар. Вот коренные народы Европы и расплозились по национальным конюшням. Тянутся к корням... а они давно сгнили. Экстремисты сеют ненависть. Скоро урожай начнут собирать. Недаром сейчас столько фильмов про зомби показывают. Чувствуют будущее киношники.

Я сказал своему новому знакомому: «Вот же ведьма! И по морде ее нельзя треснуть – срок могут дать».

Витя захихикал, поморгал, погладил челку... задумался... потом осмотрелся и предложил: «Вон, там, где шиповник, лавочка в тени, пойдем, сядем, в ногах правды нет, и я расскажу тебе про настоящую ведьму. На помеле она летать не могла, но... Про тещу мою покойную. Ты, писатель, вставь ее, паскуду, в роман. Обморочила по полной».

Я согласился. Хотя терпеть не могу пьяных излишеств бывших соотечественников. Рассказ о теще... что может быть банальнее? Я бы тоже мог много чего порассказать, да кому это нужно? Но домой не хотелось ехать... жара... на улице хоть дышалось легко, а дома – духота. Окна наши на солнечной стороне. В январе хорошо, светло, а летом – подохнуть можно. Привожу тут рассказ Вити как я его запомнил.

* * *

Ты смотрел на мир из окна своего московского кооператива, а я – из барака в рабочем поселке на окраине Экибастуза. Разницу чувствуешь? Родился я еще при жизни Усатого. В спецпоселении. Школа, техникум, армия... В армии нас не трогали, уважали. Называли фашистами. После армии – работа. Солярка, машинное масло, железяки, резина... запарка вечная... нервотрепка... травмы.

В свое удовольствие пожить мне на родине так и не пришлось. Колочая там была жизнь, ядовитая... И злая. Зато тут раздолье... только сколько оно еще продлится, раздолье-то.

В семидесятых я на разрезе работал. Бульдозера чинил. Зарабатывал неплохо. Пил, конечно. Как все. Потом влюбился и пить перестал. В Натку. Учительницей работала. Русского языка и литературы. Умница. Скромная такая. И застенчивая. Но с характером. Сделал предложение. Женился. Жила Натка в рабочем общежитии – потому что с мамашей своей, Таисией Петровной, вдовой бывшего директора разреза, не ладила. Работала Таисия Петровна на полставки бухгалтером...

Ну, поженились мы, а жить-то негде. В рабочем общежитии – срач. В родительском бараке – один туалет на сорок человек. Алкаши, уркаганы и синюхи. Хотели комнату снимать. Но Таисия настояла на том, чтобы мы у нее поселились. После смерти мужа Таисию с дочкой из их трехкомнатной квартиры выперли. Дали двухкомнатную. С проходной комнатой, большой кухней и балконом.

Не могу без моей лебедушки... милые дети, я вас буду холить-лелять, как у Христа за пазухой жить будете... Все брехала, ведьмачка.

Натка согласилась, а я... Что я был такое? Пацан.

Таисия спала в большой проходной комнате, а мы ютились в крохотной спальне, в которой только кровать да небольшой шкафчик помещались. Но мы и тому были несказанно рады. Своя комната! Хоть и рядом с тещей.

Отношения мои с тещей были нормальными. Не сердечными, но так... вроде все путем. Я помогал в хозяйстве. Если что принести, починить... Отдавал зарплату жене. Не пил. Не курил. Зубы три раза в день чистил зубным порошком. Руки только не мог отмыть... Но ногти стриг регулярно. Старался быть приветливым. А теща мне глазки строила, по плечу похлопывала, хвалила меня, когда гости приходили. У меня зятек – лучше всех! Без пяти минут начальник участка. Тоже врал.

И готовила вкусно. Не старая была еще баба. Лет сорока пяти. Полненькая. В самом соку.

Жили бы и не тужили, если бы не одна, как теперь говорят, – загогулина. Трудно мне об этом рассказывать, но мы с тобой не дети... скоро в могилу, чего стесняться-то. Милая моя была невинная девушка, а я – неопытный молодой дурак. Короче, в постели... ничего у меня не получалось. Не мог я сделать жену женщиной. Позорище.

Начинаю член вводить, и все вроде не туда... ей больно... невтерпеж.

Я горячий был и нетерпеливый... думал, я муж плохой, не могу жену возбудить, чтобы она там мышцы не сжимала как десятитонный пресс.

Натка в крик. Теща в дверь стучится. Наташенька, что с тобой?

А жена – в слезы.

Раз двадцать так было, я отчаялся...

Консультировался в урологии, с главврачом беседовал. Описал ему все. Он меня осмотрел. Сказал, такое бывает и иногда влечет за собой трагические последствия. Если поторопиться, значит, и дырку силой пробить... женщина может от кровотечения умереть. Бывали случаи. Запугал меня. Я решил Наташку не трогать.

А как же жить? Зачем женился?

Расписались мы в июне. А в июле Наташку в командировку послали. В Целиноград. На курсы повышения квалификации. В понедельник уехала. На две недели. А я стало быть один на один с тещей остался.

Первые дни все было как всегда. Я приходил с работы, принимал душ, Таисия меня кормила. Я смотрел телевизор, и в спальню уходил.

А в четверг... пришел я с работы поздно, усталый, злой, голодный. Думал теща уже спит, ан нет... ждет меня. Какая-то возбужденная. Щеки красные... вся лоснится и сверкает как яблочко. Покормила меня голубцами... рюмку налила белой... включила телевизор. Что-то веселое показывали, КВН что ли... нет, не КВН. Запретили уже. Забыл, что. А сама мыться ушла. Я сижу на диване, смотрю одним глазом телек, а другим сплю. Долго мылась теща. Вышла наконец из ванной комнаты. В халате, на босу ногу. Волосы кудрявые распустила. Грудь – гора. Губы – как гранаты. Ресницы черные, а тени над глазами – синие. В общем, в полной боевой готовности баба. Сфинкс. Только на холеной полной шее – полоса багровая...

Села рядом со мной на диван. Улыбнулась... засмеялась... звонко так. Ресницами хлопнула. Посмотрела на меня как рысь.

А затем... халат расстегнула. Верхние пуговицы. И встряхнулась как молодая кобылица. Правая грудь ее вылезла из халата.

Я увидел розовый сосок правильной формы. Как-будто мастер выточил на токарном станке. А на конце соска – сверкнула капелька... молока или меда. И так меня к нему потянуло, что я... даром что стеснительный... положил голову теще на колени, схватил сосок жадными горячими губами и давай сосать. Она меня не оттолкнула. Набрался храбрости, вынул из халата и другую ее грудь и начал мять.

А через несколько минут я лежал на Таисии. В нашей с Наташкой супружеской постели.

Изъезженная была кобылка. Масляная. Муж-начальник постарался или кто ему помог, не знаю. Кончил я скоро. Но не остановился, а пошел по второму кругу. Безумствовал просто на бабе и ревел как носорог. Все сладкие радости, которые я с Наташкой не смог получить, все, все получил сполна. Заснули под утро. Таисия Петровна рядом со мной спала... тихо... как кошечка уютная.

В пятницу я на работу не пошел.

Три дня мы из постели не вылезали. В понедельник поехал на разрез. Возился с тормозами... а думал только о теще, о ее грудях, плечах и курчавых волосиках на лобке. О Наташке вообще забыл. Забыл о том, что женат.

Тело мое радовалось, сердце – как будто в солнечных лучах купалось. Обезумел вконец. Обворожила, ведьма. Вконец обворожила.

В следующую субботу Наташка из командировки приехала. Ждали ее вечером, а она утром заявила. Соскучилась, милая, вбежала в нашу спальню, хотела мужа обнять... а он на ее матери лежит. Голый на голой. Стонет и кончает.

Наташка – в обморок. Упала, повредила голову...

Умерла она через три дня в больнице. Внутреннее кровоизлияние произошло. Трепанацию сделали, да неудачно.

А я... даже не расстроился, когда узнал. Все плакали, я не плакал.

В ночь после похорон мы с Таисией совокуплялись как бешеные. Уморились. Заснули.

И снится мне сон. Будто сижу я в комнате Наташки в рабочем общежитии. На застеленной койке. А она со мной рядом сидит. И что-то смешное мне рассказывает. Анекдот какой-то. А потом головку потупила так и говорит печально: «Ты должен знать. Папа мой умер пять лет назад, а мать, после того, как узнала, что нас из казенной квартиры выселяют, повесилась. В спальне. Привязала бельевую веревку к люстре. Так что, решай сам, возьмешь ли в жены дочь давленницы».

И вот... ты не поверишь конечно... я вдруг понимаю, что не сон это, а явь!

Что не было у меня ничего с Таисией. И быть не могло. Обворожила, мертвячка. С того света.

Ладно. Мне пора, пойду, старушка моя небось меня заждалась.

Трещина

Наконец похолодало. Сколько же можно терпеть это пекло?

Каждый день 31–32 бывало и 36 градусов. А по ночам – духота.

Ненавижу берлинское лето. Жара тут какая-то тошная. Кажется, что не только воздух, но и само пространство раскаляется до бела в стеклянной чашке дня...

В этом медленном, но грозном, ежедневном росте температуры мне мерещится исступление природы... ярость ошалевшей планеты, леса которой горят и вырубаются, недра истощены, океаны – замусорены, воздух – загрязнен... планеты, на которой все гибнет по вине человека, живущего в массе скотской жизнью, но плодящегося с невероятной скоростью и грозящего отравить и уничтожить все живое, включая и самого себя. Превратить Землю в холодный и пыльный Марс или в пылающую уродину – Венеру.

Да, похолодало, стало легче дышать...

Поэтому нудные и долгие крестины моей младшей внучки в берлинской церкви «Воскресения Христова» пролетели незаметно. Подслеповатый усталый поп отчаянно бубнил по-старославянски, путал имена, то и дело кивал непонятно кому и крестился так, как будто чистил морковь ножом, крестные ходили вокруг купели с преувеличенно важным видом, боялись поскользнуться и уронить свои ошарашенные интенсивным экзорцизмом ноши, чужой младенец орал как резаный... русская девочка годков двух от роду повторяла как одержимая: «Не хочу, не хочу, не хочу...» И ловко отбивалась от цепких родительских рук.

Христос, похожий на карточного валета, смотрел на крещение с иконостаса с деланным энтузиазмом. Казалось, что ему подобные зрелища надоели уже тысячелетия назад.

Немцы успешно прятали недоумение и раздражение под приветливыми улыбками. У русских на лицах запечатлелось какое-то то ли искусственное, показное, то ли юродивое благоговение, не скрывающее свинной нахрап женщин и волчий оскал мужчин.

Когда спектакль окончился, все испытали облегчение. Религиозный бред выносим только в умеренных дозах.

Поехали на нескольких машинах в ресторан.

Остановились недалеко от входа в зоопарк. Ресторан располагался под застекленной крышей десятиэтажного здания. Вид оттуда красивый... внизу бегают дикие звери... на горизонте Марцан-Хеллерсдорф.

Расселись за двумя длинными столами. Подали шампанское. Выпили за здоровье и счастье малышки...

Тимо рассказал о своей новой клинике.

Эдик завел разговор о политической ситуации в Австрии.

Франциска болтала без умолку.

Гюнтер все время улыбался, Гудрун хмурилась.

Подросток Марк томился от переизбытка взрослых с их скучными проблемами и хорошо выбритыми щеками.

Две мои внучки порхали по залу как бабочки.

Новокрещенная Иоханна мирно сосала грудь мамы.

На закуску смешной, слегка косоглазый официант принес несколько пирамидок с хумсом (желтый, светлый и красный, со свеклой) и лепешки. А через четверть часа на столе появились маленькие кусочки куриного мяса в ананасном соусе в приятных глиняных мисочках с кошачьими головами вместо ручек, салат и карамелизированные жареные баклажаны с рисом басмати на продолговатых белых тарелках с лебедами.

Мясо я даже не попробовал, а баклажаны были так вкусны, что я забыл о боли в спине и в колене, забыл о том, что держу диету, о том, что дал дочке слово вести себя на крестинах

и в ресторане достойно и скромно помалкивать, забыл о том, что я в Берлине, среди немцев, моих новых родственников и друзей, о том, что жизнь, кажется, прошла, и непонятно, что делать дальше, стоит ли оттягивать или приближать конец... о том, что надо готовить себя к тому времени, когда придется из городской берлинской электрички пересаживаться в лодку Харона... менять Шпрее на Ахерон.

Вкус берлинских карамелизированных баклажанов напомнил мне вкус баклажана кавказского, которого я поджарил на костре из плавника на берегу Черного моря лет сорок пять назад. Проткнул лоснящийся овощ и несколько помидоров веточкой и сунул в синеватый танцующий огонек. Помидоры сразу треснули и выплеснули свой розовый сок, а баклажан долго стонал, потом зашипел и сердито выпустил из себя несколько струек пара... начал гореть. Я его потушил, разрезал, посолил и съел. Половину. А вторую половину съела Инга.

Да-да, она...

Милая, высокая, длинноногая. Легкая на подъем. Прекрасная пловчиха. Глаза зеленые с желтыми искорками. Губы – фиолетовые. Веснушки на лбу и носу. Легкий уральский акцент (немного на «о»). И золотая цепочка на шее.

У Инги было много поклонников, тогда, в конце июля 197... года, в пансионате МГУ «Голубая долина». Были молодцы и повыше и поатлетичнее меня. Но Инга их всех как-то быстро отшивала. Я украдкой посматривал на нее... в столовой и на танцах. Танцевала она только быстрые танцы, а от приглашений на медленные – вежливо отказывалась, хохотала, уходила. Потом появлялась.

После трех дней разведки, я набрался мужества и пригласил ее танцевать.

Инга, кокетливо поморгав зелеными глазами, согласилась, позволила себя обнять, доверчиво прижалась ко мне и даже ответила на мой дежурный сухой поцелуй.

Падает снег, рыдая, пел Сальваторе Адамо. Ты не придешь сегодня вечером...

Мастер! Многие растроганные и размягченные этой песней студентки, лишились благодаря ему невинности в колючих кустиках и на теплых камешках вокруг «Голубой долины».

После второго медленного танца («Сувенир» Демиса Руссо) и второго поцелуя, несколько более продолжительного, но все еще сухого, я предложил Инге пройтись по пляжу. Тут Шарль Азнавур запел свою «Богему». Мы обнялись и начали топтаться...

Вся эта инфантильная романтика еще на меня действовала. Я влюбился в Ингу. Третий поцелуй был многообещающ, но также сух, как и первые два.

Тогда, этой южной ночью, мне казалось, что Инга, которая была на четыре года старше меня, разделяет мое чувство. Смешная самонадеянность!

Повздыхав и помечтав о жизни на Монмартре, с сиренью, мольбертами, сюрреалистами и кофе со сливками, мы вышли на асфальтированную площадку перед входом в пансионат. Там призывно горели синие и розовые огоньки. Парочки сидели на деревянных скамейках. Слышался негромкий мужской бас, женское хихиканье... бульканье вина... Я сбегал в свою комнату, положил в тряпичную сумочку баклажан, помидоры, зажигалку и щепотку соли в газете, спустился к Инге.

Она взяла меня под руку, и мы направились к морю... шли не по бульвару, заросшему пальмами и акациями, а по грязной советской деревенской дороге, с лужами, камнями и всякой дрянью на обочинах. Млечный путь, впрочем, сиял и переливался перламутровыми сполохами... как в планетарии.

И тут произошло то, чего я втайне побаивался и ужасно не хотел испытать, особенно с любимой девушкой. В темноте нас окружили штук десять голодных и злых бездомных псов и начали рычать и лаять. Глаза их сверкали ярче звезд, а клыки казались мне размером с бивни мамонта.

Я поднял бульжник и бросил в большого ушастого пса. Хотел поразить его в голову. Кажется, попал... услышал жалобный скулеж... тут же поднял второй и уже собирался его

метнуть... но тут Инга взяла меня за руку и сказала: «Не надо, милый, они не причинят нам вреда».

Затем она – только на мгновение – как-то странно напряглась...

Что-то прошептала.

Я заметил быстро растущую тень, похожую очертаниями на огромную собаку...

Мне показалось, что глаза Инги стали размером с мельницу, и из них полетели в разные стороны зеленоватые искры. Я оробел.

Из пансионата донеслась чарующая мелодия Джоржа Харрисона «My Sweet Lord», я обнял Ингу за талию и мы, танцуя, прошли сквозь кольцо почему-то притихших псов... Через несколько секунд – я обернулся... никаких собак не было на дороге. Только грязная вода поблескивала в лужах.

Вышли на пляж.

Не сговариваясь, сбросили одежду и вошли в теплую, иссиня-черную воду.

Ночное море втянуло нас в себя своим огромным ласковым ртом. И ласкало, ласкало наши молодые тела своими солеными губами...

После купания валялись на теплой гальке, смотрели в небо, обнимались.

Большого я и не хотел...

Но, повинувшись инстинкту («или делай, или хотя бы демонстрируй готовность и желание»), дотронулся несколько раз кончиками пальцев до лобка моей подружки...

Как будто засохшие водоросли потрогал.

Ее оливковые груди представлялись мне свернувшимися в спирали электрическими угрями. От прикосновения к ним меня било током. Я видел маленькие желтые молнии, вылетающие из ее сосков как из электрической машины.

Целовалась Инга очень сладко.

Я не сразу заметил, что ее длинный язык – раздвоен на конце.

Перед тем, как возвращаться в пансионат, мы развели костер из плавника и поджарили тот самый баклажан, который я несколько дней до этого – сам не зная, зачем и почему – украл на пансионатской кухне...

Наш повар, толстый осетин, которого все звали «Коби», заметил мою проделку, выпучил по-рыбьи глаза, заохал, покачал большой лысой головой... потом протянул мне несколько розоватых анапских помидоров и прогудел: «Пожарь баклажан с помидорами и посолить не забудь. Обьедение».

...

На следующий день, после неаппетитного коллективного завтрака, с серым невкусным хлебом, желудиным кофе, объявлениями пансионатского начальства и выговорами, мы отправились вдоль моря в сторону Большого Утриша, прихватив с собой полосатое одеяло, алюминиевые колышки уголкем и простыню. Нашли безлюдную бухточку, разложили одеяло, укрепили колышки большими круглыми камнями, растянули на них простыню и легли. В тени, как баре.

О чем мы говорили, я не помню, а придумывать не хочу. Вероятно, о какой-нибудь чепухе.

Простыню нашу полоскал свежий бриз.

Море окатывало нас алмазными брызгами.

Чайки гоготали. Оглушительно звенели цикады.

Тело Инги казалось мне зеленовато-оливковым.

Ее кожа пахла водорослями, йодом, а шея – почему-то – дыней и яблоками...

В те времена было модно ставить друг другу засосы, и мы по очереди впивались друг другу в шею... как упыри... это возбуждало... плавки мои, порыжевшие на утришском солнце, норовили разорваться. Но Ингу их содержание явно не интересовало.

Ей хватало и неттинга.

Помню, заснул после долгого купания и поцелуев, а Инга углубилась в книгу.

А когда я проснулся... все уже было не так чудесно, как до моего сна. Паршиво было. Потому что между мной и Ингой развалился Боря Кипелов, по прозвищу «Кип», баскетболист, крашенный блондин, аспирант и известный на мехмате «покоритель женских сердец».

С противной бородкой и сигаретой во рту.

От него пахло потом и агрессией...

Этот самый Кип любил в мужской компании рассказывать как «та» или «эта» «дала ему в рот»... С подробностями, от которых тошнило.

«Какого черта? – подумал я. – Какой дьявол принес эту грязную скотину в наше гнездышко? Мы же никому не сказали, куда пошли. Неужели Инга сообщила ему, где мы ляжем? Пригласила присоединиться? Или он по берегу тащился к водопаду и случайно нас увидел? Но я ведь так простыню натянул, чтобы нас с берега видно не было. Косо. Значит Инга проболталась. Специально. Сука».

Я сел...

Инга лежала на плече Кипа и играла его бородой. А он перебирал как четки ее цепочку. Инга и Кип говорили друг с другом так, как будто меня не было рядом.

– Что делает рядом с тобой этот недоросток?

– Он уже взрослый. Первый курс осилил. Мы с ним танцевали... болтали... тебя же не было. Я скучала целых три дня. А затем выбрала этого смазливового петушка, чтобы ты потом не ревновал. Он занятый. Про Эдгара По мне рассказывал. Говорил, что хочет стать художником.

– Я ему покажу сейчас По, засранцу! Глаз на жопу натяну и моргать заставлю!

– Не надо, дорогой! Он от страха описается. Вчера вечером пару местных собак встретили на дороге, так он так задрожал... я думала, заплачет и убежит.

– А кто тебе засос на шею поставил? Только не говори, что он, тогда я его сейчас же придушу, а тело глубоко в гальку зарюю. Его сто лет не найдут. Художник...

– Ну что ты, какие засосы, я тут недалеко от тира в колючки упала, поцарапалась. Загноились ранки... медсестра йодом прижигала... вот и пятнышки...

...

Тут Кип повернул ко мне свою огромную вихрастую голову, смачно плюнул мне в лицо и прошипел: «Исчезни, тля!»

Меня обожгло страхом и яростью.

Но я взял себя в руки, улыбнулся криво, кивнул, встал и купаться пошел. А Кип вдобавок запустил в меня бычком. Да так удачно, что на плавках дырочку прожег. На стороне ягодиц.

Сердце мое захлебывалось желчью от несправедливой обиды. Мне хотелось убить их обоих. Как она могла так говорить обо мне? И кому? Пошляку и дебилу Кипу, понимающему только язык грубой силы.

Язык грубой силы?

Вот и славненько!

Получишь, подонок, получишь ответ на этом языке.

Я хорошо понимал, что мои шансы на суше равны нулю. Выросший в хулиганской Казани костлявый гигант Кип меня ногами затопчет.

Но в воде – я его в десять раз сильнее. Потому что я плаваю и ныряю как рыба, а он... посмотрим, как он плавает.

Отплыл от берега метров сто и осторожно наблюдал оттуда за Ингой и Кипом. А те занялись любовью. Я видел только трясущуюся волосатую задницу Кипа и смутно слышал сквозь шум прибоя стоны Инги.

После любви Инга, видимо, задремала, а Кип решил ополоснуться. Вошел в воду и поплыл, неловко загребая своими огромными ручищами.

Меня он не видел. Потому что я был от него с солнечной стороны. К тому же я не поднимал голову над водой... и выдыхал в воду... Полагаю, он вообще забыл о моем существовании. Об обиде, нанесенной мне. Но я не забыл об обиде. Все мое существо жаждало мести.

Когда он отплыл метров пятьдесят от берега, я коварно напал на него... Сзади.

Я знал, как топить человека, мне это не раз показывали знакомые военные аквалангисты, с которыми я вместе тренировался в бассейне ЦСК, но ни до этого момента, ни после не применял этого знания на практике. Набрал побольше воздуха в легкие, я обхватил его сзади за шею левой рукой, а правой схватил его за вихры и надавил. Всем своим существом я толкал его в глубину. Кип бешено дергался, пытался отодрать мою руку от своего горла, страшно лягался верблюжьими своими ножищами, даже попытался укусить меня. Все напрасно...

Его пыл угас через минуту... он пустил пузыри... хлебнул черноморской водицы... еще... задергался уже в агонии и пошел ко дну. Но дна не достиг, а повис в воде, как астронавт в ракете.

Я смотрел на него без тени сочувствия. Этот негодяй унизил и оскорбил меня, плюнул мне в лицо, бросил в меня бычком, оттрахал у меня на глазах девушку, в которую я был влюблен. Он заслужил смерть.

Я всплыл, вдохнул, не поднимая головы из воды, и нырнул обратно к телу Кипа. Его уже отнесло течением метров на десять в сторону. Я схватил его за жилистую лапу и поволок под водой дальше от берега. Несколько раз выныривал, дышал, а потом упорно... тащил и тащил еще теплое тело к подводному скалистому обрыву метрах в двухстах от берега.

Утришский подводный мир был мне хорошо знаком – не одно лето я нырял тут с маской и трубкой, охотился за крабами и доставал рапанов.

Я знал, что у обрыва, примерно на пятнадцатиметровой глубине, много небольших пещерок в скалах. Там прятались особенно большие крабы и обросшие разноцветными водорослями морские ерши сантиметров по сорок длиной. Настоящие чудовища.

Вот и обрыв.

Я нырнул, держа Кипа за руку... тут, кажется, и вход в пещерку...

Втащил в нее тело... Так... метров пять в глубину... Хватит, чтобы спрятать тело. Другого выхода вроде нет... Подходит.

Ты меня хотел придушить и в гальку закопать, а я тебя тут замурую...

Амонтильядо!

Минут сорок собирал камни... на суше я бы их и поднять не мог, а в воде, спасибо Архимеду...

Заложил ими вход в пещерку. Перед этим последний раз посмотрел на мертвеца. Глаза его были открыты, лицо искажено гримасой животной злобы. Заметил у него на шее золотую цепочку. Сорвал ее и обмотал вокруг указательного пальца, чтобы не потерять.

...

К Инге я возвращаться не стал, а поплыл, по большой дуге... прямо на наш пансионатский пляж. Пришел в «Голубую долину» босой, в одних плавках, но никто не обратил на меня никакого внимания. Принял душ, немного полежал на койке и помечтал. А вечером надел запасные сандалии, сходил в нашу бухточку и забрал одеяло, простыню и колышки. Никаких вещей Инги или Кипа не обнаружил. Даже окурки там не валялись. Вопросительно посмотрел на темнеющее море. И море прощелестело ветерком мне в уши: «Я сохраню твою тайну... Его не найдут... никогда... никогда».

Поздним вечером напился с знакомым однокурсником местным прогорклым и мутным вином.

На следующий день, за завтраком, поискал Ингу в столовой. Не нашел. Зашел в ее комнату, поговорил там с одной красавицей... Она сказала, что никакой Инги там нет и не было, и томно посмотрела на меня. Я описал ингину внешность... упомянул зеленые глаза, вес-

нушки... тогда моя собеседница вздохнула и позвала всех четырех своих соседок. У всех у них были зеленоватые глаза и веснушки. Глупые девчонки начали хохотать, обсыпали меня пудрой, прицепили мне к майке синий бантик и предложили прийти к ним после отбоя.

А через две недели знакомый доцент сообщил мне в канцелярии факультета, что в списках нет аспиранта Кипелова, и что... студент с таким именем никогда не учился на мехмате.

Не было, значит, ни Инги, ни Кипа... Не существовало.

А чье же тело замуровано там, в подводной пещере, недалеко от Большого Утриша?

Об этом я думал, просовывая мизинец в дырочку на стареньких плавках...

Года через три я забыл эту историю.

...

На десерт нам подали горячие яблочные пирожные и итальянское мороженое «Джелато». Моя старшая внучка подарила мне крохотную коробочку с испанскими шоколадными конфетами. Гости разъехались по домам.

А вечером мне позвонили. В дверь моей квартиры в Марцане. Я посмотрел в глазок – у двери переминалась с ноги на ногу молодая женщина. Одета по моде. Черные колготки. Короткая юбка. Шляпка с вуалью. Открыл. Кажется, знакомая... кто это?

Зеленые глаза с желтыми искорками. Веснушки на носу...

Не может быть! Ей должно было быть за шестьдесят, а этой крале не больше тридцати... Ее голос разрешил все мои сомнения.

– Милый, как же ты мог меня не узнать? Неужели ты все это время думал, что я не догадывалась о том, что ты там под водой вытворял? Где моя цепочка?

И тут же наша чистенькая кафельная лестничная клетка начала превращаться в ту самую подводную пещеру. Стены местами позеленели, местами пожелтели, покрылись ракушками, несколько юрких рыбок проплыли по сгущающемуся воздуху... показался страшный силуэт утопленника... Он яростно смотрел на меня широко раскрытыми мертвыми глазами...

У меня не было ни секунды на размышления. Нужно было в корне пресечь...

– Цепочка? Простите, о какой цепочке идет речь? У меня нет никаких цепочек. Вы ошиблись адресом. Посудите сами, для меня вы – не что иное, как чужое воспоминание, чужая мысль, по ошибке пришедшая мне в голову. Во время еды. Вы даже не чувственное испарение, не ассоциация, не фантазия, у вас нет никаких прав и привилегий... ведь вы всего лишь – хм-хм – несколько царапин и осыпавшаяся краска на трубе парового отопления.

В этот момент неожиданно раскрылись двери лифта...

– С кем это ты разговариваешь? – спросила меня симпатичная соседка-толстунья, вышедшая из лифта с тремя своими любимцами – голубыми померанскими шпицами, которые, увидев меня, тут же начали противно тявкать. – И зачем ты трубу трогаешь? Там что, трещина? Надо управдому сказать, а то как рванет зимой...

Черный аспирант

В рассказе «Трещина» я описал, как убил... утопил... одного сукиного сына. Кипа... Да, утопил и тело спрятал в подводной пещере недалеко от Большого Утриша.

В тексте. Только в тексте убил-утопил... не забывайте это, господа! Хоть и неспроста.

С тех пор меня мучает что-то вроде авторского раскаяния... есть такое особенное чувство, которое завладевает иногда жестокими, но легкомысленными писателями, сурово расправляющимися со своими героями.

Может быть потому, что прототип Кипа – звали его конечно иначе, но я буду его и дальше называть этим фиктивным именем – я хорошо помню. Не забыл и реальную историю его гибели, оспариваемую любителями страшилок и легенд.

Как же капризно наше подсознание! После того, как я написал «Трещину» мне стало казаться, что безобразная эта история, подлинная история гибели Кипа, выставленная кстатисту меня в далеко не лучшем свете, навязчиво требует, чтобы я ее рассказал.

Что же, терять мне уже почти нечего, расскажу...

...

Справедливости ради, должен заметить, что главная героиня рассказа «Трещина», Инга, ограбленная и униженная рассказчиком, ревность к которой и спровоцировала его на преступление – на самом деле ни к реальному Кипу, ни к его гибели отношения не имела. Ее я сделал из одной своей подруги, короткие летние отношения с которой ничего кроме радости мне не принесли, и были, как и все подобные отношения, банальными, даже скучными... хоть и сладкими как кавказское варенье из роз... Не пробовали?

Да, Инга... или другая летняя подруга, похожая на нее, много их было, является мне... иногда... тут, в Германии... приводит в замешательство.

Неожиданно и реально является... до того реально, что ее действительно можно перепутать с трещинкой засохшей краски на отопительной трубе на лестничной клетке нашего одиннадцатипятиэтажного дома в Марцане.

Но эти превращения... материализовавшиеся метафоры... это уже иная история, как говорят – «из другой оперы». Вернемся к Кипу.

...

Да, он действительно был аспирантом, баскетболистом с бородкой, вечной сигаретой во рту и крашеными блондинистыми волосами. От него действительно пахло потом и агрессией. И он действительно рассказывал о том, как та или эта давали ему в рот.

Но никаким «покорителем женских сердец» Кип не был, а все его многочисленные рассказы о французской любви «с той и этой» были обыкновенным враньем озабоченного совчела.

А был Кип – как и почти все молодые люди в те ужасные времена – похотливым козлом, готовым влезть на любую особь женского пола. Например, на дешевую проститутку с Сокола, после сношения с которой неизбежно «капало с конца», как у тульского самовара.

Или на жирную опустившуюся самогонщицу, подторговывающую краденым барахлом... После совокупления с этой дамой недостаточно было получить укол в задницу от хмурого врача-венеролога, приходилось еще и сдавать кровь из вены на «реакцию Вассермана».

Или на в дымину пьяную строительную рабочую за сорок, лежащую где-нибудь в бурьяне с раздвинутыми толстыми ляжками в рваных синих колготках и дающую всем желающим... что гарантировало получение так называемого «букета» или венка.

Слава богу, СПИДа во времена моей юности в СССР еще не было, иначе мы бы все подошли еще в студенческие годы.

Почему?

Много раз писал об этом... надоело повторять...

Потому что противозачаточные пилюли в государстве рабочих и крестьян в аптеках не продавались...

Потому что ни у кого из нас не было своего жилья.

Порнография и легальная проституция были строжайше запрещены...

А юные ламии, «девочки из интеллигентных семей», студентки и аспирантки, – по крайней мере девять из десяти – со студентами и аспирантами в постель до брака не ложились.

С доцентами или профессорами... такое бывало, редко, но бывало... по любви или из карьерных соображений, а с молодым человеком, даже с любимым... только после печати в паспорте!

К чему это приводило, к каким психическим и физическим травмам – можете себе сами представить, дорогие читатели.

Может быть из-за этого постоянного полового голода и его очевидных последствий, студенты и аспиранты МГУ – девять из десяти – были нечистоплотными, грубыми и мрачными пошляками. Втайне мечтающими об изнасиловании.

Вот и Кип был пошляком. И насильником.

Но в безвременной его гибели, в которой он конечно сам виноват, есть и небольшая доля вины интеллигентных девушек семидесятых годов ушедшего столетия. И лично – СССР.

...

Случай свел в одной комнате коттеджа в спортлагере «Ломоносов» трех человек: аспиранта второго года Кипа, его дружка, только что защитившего диплом на кафедре диффузов, по кличке Саня-Масяня, играющего рядом с огромным Кипом роль рыбки-лоцмана, и меня, закончившего первый курс, зеленого еще мехмятина.

Не знаю, осознанно ли, но Саня-Масяня предпочитал носить тельняшки... доводя этой полосатостью схожесть с рыбкой-лоцманом почти до совершенства.

Соседками нашими, живущими в комнате, выходящей на общую веранду, были студентки экономического факультета: Ирочка, Леночка, Олечка и Зурочка. Все милашки и хохо-тушки...

Ирочка, Леночка и Олечка были москвичками, не без характерного для детей начальства декаданса (папы их работали, если память мне не изменяет, в руководстве Госплана, Госснаба и Госстроя), а трудолюбивая и целеустремленная Зурочка, дочь простого пастуха, закончившая десятилетку с золотой медалью в дагестанском ауле... жила в общежитии. Летом следующего года она должна была защищать диплом.

Не хочу повторяться и описывать жизнь неспортивных студентов в спортивном лагере... перейду к делу.

В тот день мы пили особенно много. Пульку начали писать часов в шесть вечера уже пьяные. Саня-Масяня, отец которого был профессором на химфаке и имел соответствующий доступ, выставил на стол двухсотграммовый флакончик с чистым спиртом.

Спирт обжигал глотку, как кислота. Наводил на печальные размышления о многолистной вселенной.

После второго глотка, я мысленно слетал на ракете к Юпитеру и долго наблюдал загадочное Красное пятно, показавшееся мне глазом сидящего внутри планеты дракона... После третьего – долетел до Сатурна, потрогал руками его кольца и возвратился на Землю только для того, чтобы глотнуть еще раз.

Масяня выпил только один раз, меняхватило на четыре глоточка...

Кип допил остаток. В слегка раскосых его глазах появилось странное выражение, породившее во мне тревогу и вызвавшее предчувствие беды. В голове шумело, мне казалось, что я качаюсь на огромной сетке, натянутой между землей и небом...

Сетка эта грозила порваться... и выкинуть меня из уютного мира вещей и элементов.

Спирт мы полировали местным вином без названия.

Закуски у нас не было.

Кип во время игры угрюмо молчал. Только злорадно хихикал, когда я или Масяня оставались без одной.

Вокруг его головы носились как дьяволы лукавые преферансные мысли.

Надо отдать ему должное, играл он очень хорошо. Даже пьяный. Масяня и я играли средне. Бог особенно несправедлив при раздаче талантов.

Масяня говорил без умолку. Речь его трудно воспроизвести, даже не буду пытаться, потому что это была болтовня ни о чем... с множеством междометий...

То не угроза и не дума...

Ну да, Масяня усердно подтрунивал над Кипом. Не щадил ни его внешнего вида, ни его происхождения, ни скромных научных успехов, но делал это так осторожно, деликатно, даже до подобострастности, что получалось, что он не подтрунивает, а сыпет и сыпет комплименты... как будто пену взбивает. И гладит и лижет своего закадычного друга или повелителя.

В восемь часов закончили пульку...

Масяня отыгрался, а мне пришлось заплатить Кипу пятерку, которую тот с удовольствием спрятал в карман шорт. Самодовольно похлопал себя по длинным худым бедрам... потом как будто вспомнил что-то важное... пробурчал: «Саня, друг, оставь нас с Димычем наедине, у меня к нему разговорчик есть... интимный, бля... пойдешь, потанцуй».

Масяня ревниво сверкнул влажными карими глазами и подчеркнуто медленно начал натягивать на ноги свои, тогда только недавно появившиеся у избранных «блатных», шикарные японские кроссовки. Надел свежую тельняшку, хмыкнул презрительно и исчез.

Я не знал, что Кипу было от меня надо.

Не успел поразмышлять на эту животрепещущую тему, потому что Кип вдруг схватил меня сзади за длинные, по моде, волосы и приблизил мое лицо к своей безобразной роже, похожей на поржавевшую и бородастую Луну.

Неожиданно я понял, что он смертельно пьян... или нет, не пьян... а впал в состояние делирия, или, как его тогда называли, «белочки».

Обезумел. Очумел. Слетел с катушек.

Таким я его еще не видел. Грубоватым, пошлым и агрессивным он был всегда. Но до сих пор держал себя в рамках приличия. А тут... может спирт так на него подействовал... или количество перешло в качество – пили мы без передыха две недели подряд. Все, что могли купить в гадком магазинчике по дороге в Гудауту. Портвейн... алжирское... водку. Кип пил раза в три больше, чем я и Масяня вместе взятые. И курил по три пачки местной Примы в день.

По вискам его катились капли пота, трясущийся рот был похож на трещину в скале, в которой живет саблезубый тигр, глаза покраснели.

В его правой руке я заметил опасную бритву.

Кип поднес лезвие бритвы к моему горлу, почесал мне кадык, скорчил зверскую рожу и просипел: «Ты, Димыч, сейчас пойдешь к нашим соседкам, и уговоришь одну из них взять у меня в рот. Сейчас, ублюдок. Иначе я вас всех порежу. И не вздумай кого-нибудь на помощь звать, сука... распорю брюхо и собственные кишки жрать заставлю. На уговоры даю тебе полчаса. Ну, что уставился... вали...»

...

Я, как тот чеховский землемер – такого реприманда не ожидал...

Читатель наверное хочет, чтобы я выбил каратистским ударом бритву из лапы осатаневшего баскетболиста и связал его подтяжками... или... убил бы Кипа тумбочкой... в целях самозащиты. И суд меня бы оправдал и еще наградил медалью.

Уверяю вас, я бы так и поступил, если бы позорно не струсил...

Я был уже на улице, но моя шея все еще ощущала холод металла... у сонной артерии.

К девушкам, которые, судя по веселому гомону, доносящемуся из их комнаты, устроили частный показ мод, я не пошел. Не хотел их пугать. За помощью к знакомым спасателям на водах не обратился. Потому что на самом деле не хотел, чтобы Кип кого-нибудь зарезал или был изувечен разозленными спасателями.

Предполагал, что единственным человеком, который мог бы уладить это дело без кровопускания и членовредительства был Саня-Масяня. И волк был бы сыт, и овцы целы. Спустился к открытой столовой, из которой доносилась популярная в то время песня Маккартни «Миссис Вандербилт»... Там танцевали. Поискал глазами Масяню. Не нашел. Хоп-хэй-хоп!

Что делать?

В панике выбежал на пляж. Масяня сидел на гальке, один, среди обнявшихся парочек, вздыхал и бросал в лиловую воду камешки. Сбиваясь и заикаясь, объяснил ему, в чем дело. Масяня не стал, как обычно, нести пургу, а проговорил неожиданно трезво: «Так и думал, что у него какое-то говно на уме... К девушкам не ходи, не геройствуй, Кип тебя на куски порежет. Я побегу к Семенычу, попрошу его из Гудауты ментов и дуровозку вызвать. Только бы они не опоздали».

...

Приятно, когда кто-то другой снимает с тебя бремя ответственности.

Мне вдруг стало легко и хорошо. Я вздумал искупаться, очень тянуло в вечернее море.

Отошел на темную часть пляжа, сбросил с себя все и прыгнул с разбега в теплую черноморскую воду.

Отплыл от берега метров тридцать, лег на спину...

Глубоко дышал и смотрел на звезды. Казалось, их можно пощупать, вытянув руку из воды.

Забыл и про Кипа, и про девушек, находящихся в опасности, и про Масяню...

Очнулся от рева доносящейся из лагеря сирены скорой помощи.

После прикинул... оказалось, я больше сорока минут пролежал в воде.

Ну да, да, до сих пор стыдно...

А Кип, как я узнал от ставшей позже моей близкой подружкой Олечки (той, у которой отец работал в Госснабе), меня не дождался, и уже через четверть часа после моего ухода ввалился в комнату к бедным девушкам. С опасной бритвой в руке.

Девчонки конечно, когда его рассмотрели и поняли, что он хочет, завизжали и забились в углы.

Все, кроме бесстрашной горянки Зурочки. Она стояла посередине комнаты и мужественно смотрела в глаза обезумевшему идиоту. Мужество ее не подействовало.

Кип, «рыча, как бешеный медведь», вначале «как будто отбивался бритвой от невидимых чудовищ», а затем бросился на девушку. Повалил на пол, разорвал на ней платье, схватил за грудь, присосался ослиными губищами к ее белой шее.

Зурочка как могла защищалась. Ударила его маленьким кулачком по носу.

Кип полоснул ее бритвой по животу, грубо развел ей бедра...

В самый последний момент Зурочка умудрилась из-под него выбраться и как была, полуголая, босая, зажимая рукой длинную рану на животе, побежала к знакомым студентам-дагестанцам, жившим за семь коттеджей от нас.

А Кип набросился на другую жертву – Леночку. Но изнасиловать ее он не успел.

Трое дагестанцев ворвались в комнату наших соседок за полминуты до того, как туда же вошли Масяня и начальник лагеря Семеныч, толстоносый мужик лет пятидесяти пяти, крепкий хозяйственник, бывший когда-то директором тюрьмы... с большим гаечным ключом в руках.

Олечка рассказывала: «Это был такой ужас. Все что-то кричали дикими голосами. Наши тряпки летали по воздуху как взбесившиеся птицы. Дерущиеся умудрились лампу разбить

на потолке. Поэтому главное сражение происходило в темноте. Минут пять сражались добры молодцы. Мы хотели только одного, чтобы этот придурок Семеныч не раскроил кому-нибудь из нас случайно голову своим оружием».

...

Когда дагестанцы, Масяня и Семеныч наконец одолели Кипа и положили его на спину, оказалось, что он мертв. На его груди зияли две колотые раны. Правая его рука все еще сжимала открытую опасную бритву, измазанную кровью.

Семеныч тут же заподозрил в убийстве дагестанцев. Стал искать ножи. Но у дагестанцев никаких ножей не было. На допросе в гудаутской милиции они заявили, что «пришли на помощь женщинам, не хотели никого убивать».

Скорая увезла тело Кипа в морг, а Зурочку отвели в лагерный медпункт, где опытная медсестра Даша, свояченица Семеныча, промыла и зашила ее неглубокую рану.

Комнату наших соседок тщательно обыскала милиция. Единственным колюще-режущим предметом, который она обнаружила, были валяющиеся под столиком длинные портновские ножницы, принадлежащие, кажется, Леночке... Она привезла с собой в спортлагерь хлопчатобумажную ткань, выкройку, нитки, иголки и ножницы и собиралась вместе с подружками сшить из нее макси-платье.

Кто же все-таки убил Кипа – так и осталось загадкой.

Может быть, он сам в неистовстве драки накололся на ножницы? Так, по крайней мере, объявил на общем собрании лагеря Семеныч... «для успокоения публики».

Дагестанцев все-таки задержали. Но через день отпустили. Все они были выходцами из бедных семей. Содрать с них что-либо было трудно.

Горевал по Кипу только Саня-Масяня.

* * *

Так уж получилось, что «бедная эта история» на этом не закончилась, а – неожиданно для всех – получила фантастическое продолжение.

Через несколько дней, ночью, я проснулся от воплей Масяни. Тот кричал во сне: «Сгинь, черррртов урод! Катись в ааад!»

Я разбудил его. Он долго смотрел на меня расширившимися от ужаса глазами, не узнавал. Потом узнал и спросил: «Где он?»

– Кто?

– Кип, он только что был тут и душил меня. Говорил, что я убил его ножницами, и что он за это задушит меня во сне.

– Очнись, Масяня. Это был кошмар. Кип – в морге. Мы живем в двадцатом веке, ты только что закончил мехмат МГУ. Синус икс по-прежнему меньше или равен единице. Все хорошо.

– Катись ты... Век... мехмат... синус... херня. Он был тут и душил меня, понимаешь? Посмотри, на шее пятна.

В этот момент мы оба услышали страшные крики и визг из соседней комнаты.

Напялил на себя шорты, постучал в дверь... никто мне не ответил. Прошел через нашу комнату на веранду и вошел оттуда в комнату соседок. Все четыре девушки не лежали на своих кроватях, а, сцепившись в человеческий ком, молча сидели на полу, в дальнем от веранды углу комнаты. Под одеялом. Вроде как прятались.

– Эй, девчонки, это я, Димыч. Вы почему так оралы? От кого спрятались?

Никто мне не ответил. Попробовал стянуть с них одеяло. Не дали. Затем услышал глухой, срывающийся шепот Зурочки: «Ал-хамду ли Лляхи...»

Она молилась...

Сел на стул. Посидел несколько минут...

– Это я, Димыч, сижу в вашей комнате на стуле. Пришел, чтобы помочь. Если хотите, уйду. Что у вас тут стряслось?

Ответила мне Олечка.

– Уходи, нам ничего не нужно. Нам кошмар приснился. Ты уйдешь, и мы будем дальше спать.

– Не хочу вас пугать, но вон... Сане-Масяне Кип привиделся. Будто бы душил его во сне.

Зря я это сказал. Девочки окаменели. Минут через пять Олечка прошептала: «Уходи, пожалуйста, мы голые».

Ушел.

...

Лег на свою кровать. Заснуть не мог. Думал, думал, ворочался.

Заснул.

И снится мне сон. Вроде вчерашний день вернулся. И Кип опять бритвой по моему горлу елозит... И вот я на улице... но не иду искать Масяню, а к соседкам стучу... хочу их от Кипа защитить... и они пускают меня к себе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.